

ЧЕРНОВИК

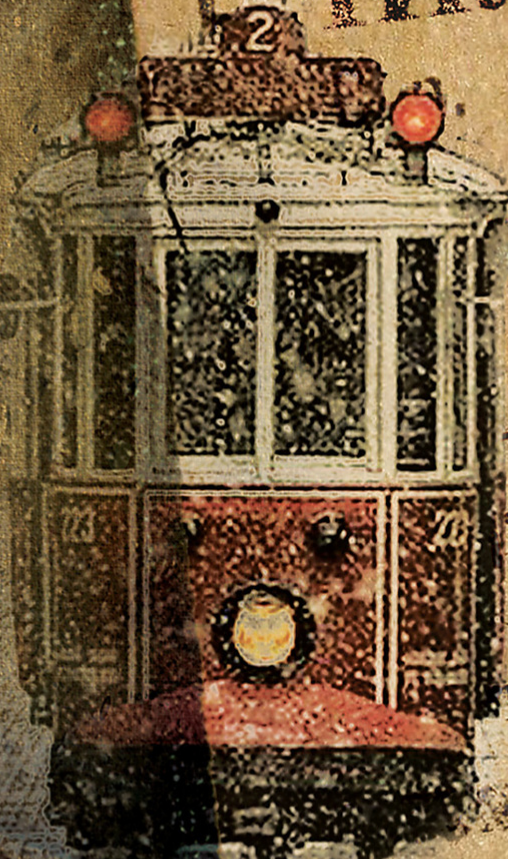
СЕРГЕЙ
ЧИЛАЯ

Т-862

1735

ТРОЛЬНЫЙ
БИЛЕТ

157239-37



Сергей Чилая

Черновик

«Accent Graphics communications»

2018

Чилая С. М.

Черновик / С. М. Чилая — «Accent Graphics communications»,
2018

Ординарный хирург узнает о существовании древнего документа, в котором собраны сведения о правилах и законах Мироздания, способных сделать жизнь на земле комфортнее и счастливей. Однако он не спешит отправляться на поиски артефакта, справедливо полагая, что картонный домик, построенный из козырей, не станет прочнее. Только для многих этот вывод совсем не очевиден. И героя, склонного к созерцательности и лени отправляют на поиски. В старании отыскать Артефакт, тяготясь и преодолевая апатию, он погружается в сомнительные приключения, замешанные на концептуальном состоянии материи. Но постепенно поиски превращаются в жертвенное служение, в творчество, наделяют героя знаниями и возможностями, доступными лишь тому, кто способен переступить черту, за которой обрыв в пустоту или постижение Разума Вселенной.

© Чилая С. М., 2018

© Accent Graphics
communications, 2018

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	15
Глава 3	25
Глава 4	41
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Сергей Чилая

Черновик

© 2014 Сергей Чилая

Ибо многие пощут войти и не возмогут.
Евангелие от Луки

Русского человека середина не интересует. Только крайности.
А. Чехов. Из записных книжек

Сергей Чилая – известный ученый, доктор медицинских наук, профессор, ученик академика Валерия Шумакова. Долгое время руководил Лабораторией экспериментальной кардиохирургии в Тбилиси, занимаясь вопросами трансплантологии и искусственных органов. Результаты этих работ были опубликованы в двух научных монографиях и множестве научных статей. После распада СССР живет и работает в Риге. Автор четырех романов: «Донор», «Виварий», «Аранжировщик» и «Хирург». Своими книгами продолжает традиции русских писателей-врачей. Пишет интеллектуальную прозу, жестко и сюрреалистично. Однако никогда не переходит грань, за которой тексты перестают быть литературой.

Глава 1

Больничный Коллайдер

Он катил перед собой низкую железную тележку, как у носильщиков на вокзалах, заставленную большими алюминиевыми кастрюлями с едой, неряшливо маркированными синей масляной краской названиями отделений: IV хирургия, Урология, II Хирургия, Гнойное отделение, III Терапия... Бесконечный круг подвального коридора Клиники с рядами электрических кабелей по стенам, труб и боковых тоннелей, напоминал Большой андронный коллайдер и выходил далеко за пределы здания. Он чувствовал себя бозоном Хиггса, хотя не очень представлял, что это такое. И не знал, что Большой коллайдер построят только через 50 лет, а бозон откроют еще позже, если откроют.

А этот Коллайдер тянулся почти на два километра под землей. Сначала к пищеблоку с кислым духом несъеденной пищи. Потом к прачечной, где грязно пахло больничным бельем. Оттуда к моргу с запахами мертвечины, слабо дезодорированной формалином, куда покойников, накрытых летом и зимой тонкими простынями, привозили на неудобных высоких катаалках, вихляющих колесами по дороге. И далее к котельной, что пропитала угольной пылью и угарным газом Коллайдер. За котельной стены сужались. Приходилось нагибаться, а потом и вовсе двигаться на четвереньках. Тех немногих, что смогли когда-то добраться до конца Коллайдера, похоже, никогда не существовало. Только легенды. Пару лет назад по распоряжению главврача узкую часть Коллайдера герметично заблокировали толстой стальной дверью, с уплотняющим запором в виде большого колеса, как на подводных лодках.

Это был его третий из пяти сегодняшних обеденных рейдов от пищеблока до вестибюля Клиники. Он говорил: «Уевстибуль», на уральский манер. И прижившееся название «Коллайдер» тоже придумал он, как придумал называть служивый люд подземелья, всех этих вечно пьяных электриков, сантехников, слесарей, «андронами» – тяжелыми частицами, кварками, – что сталкиваются постоянно между собой.

Остановил тележку подле своего служебного жилья, оборудованного точкой доступа в стандарте на порядки превосходившем XY-FI. Потянул ручку двери, вошел, предвкушая внеочередной подход к чайнику со спиртом, подвешенному над операционным столом. Под чайником, ожидая прихода хозяина, сидела трехцветная, как кошка, лягушка Эмма, страдавшая близорукостью и астигматизмом, и помешанная на любви к нему.

Боковая стена служебного помещения, с красным пожарным топориком, огнетушителем и вымпелом победителя социалистического соревнования, исчезла внезапно, будто не было ее. Подошел. Тревожиться не стал. И стоял, поправлял несуществующие очки и ждал, вглядываясь в черную зияющую пустоту, такую глубокую и густую, что хотелось взять в ладони.

Ожидание прервали два молодых щеголя, типичные стилиаги по одеждам, что ввалились в жилье. Он успел подумать: «За Носителем пришли». И сразу умело и дерзко был атакован. И, отбиваясь от града прицельных ударов, приговаривал: – Вы ошиблись, чуваки! Дверью ошиблись, наверное. Не усердствуйте так.

Но у тех в глазах не было растерянности – может, вправду адресом ошиблись, – ненависти или злобы, только вероломство, как у кадетов. И продолжали поколачивать его, но как-то странно: осторожно, даже заботливо, будто опасались повредить. Он не мог понять, чего больше в их стараниях: угодливости или энтузиазма? И сам пошел в атаку. А те, будто ждали, и усилили нажим. До чужой победы было рукой подать. Его спас огнетушитель, что вдруг зашевелился и совсем не страшно выпустил порцию пены, жидким ручейком побежавшую по погасшей стене.

Мужчины в ужасе застыли, будто завидели вражеский танк. Он не стал ждать. Сорвал огнетушитель и, размахивая им, погнал пришельцев к двери, задев по дороге одного, а потом второго, тяжелым красным цилиндром, что продолжал пенить. Поглядел на зубы, оставленные ими лежать на полу. Вынес за дверь обоих. Прислонил к стене. И, не вспомнив про чайник со спиртом, покатил тележку с кастрюлями к лифту под вестибюлем Клиники.

Он почти добрался до цели, когда за спиной услышал незнакомый шум. Обернулся и увидел двух давешних щеголей на велосипедах, что старательно крутили педали, приближаясь к нему. «Психи», – промелькнуло в голове, и тут же переднее колесо одно из велосипедов въехало в пах с такой силой, что согнулся пополам, остановив дыхание. И следом – удар в голову. Боль внизу прошла, словно не было.

Он разогнулся и спросил удивленно: – Вам чего, чуваки?

– Познакомиться хотим, – успокоил один.

– Не позволю заниматься браконьерством на своей территории, – заорал он раздраженно и двинулся к разговорчивому, целя кулаком в голову. А когда понял, что промахнулся, удар другого свалил его самого.

Он лежал на влажном бетонном полу Коллайдера и разглядывал колею, продавленную за два десятилетия тележками с едой, покойниками, тюками с грязным и чистым бельем. Встать и продолжать боевые действия не хотелось. «Еда остывает», – мелькнула мысль, но не заставила подняться. Подошли велосипедисты. Постояли, помолчали, а следом по лицу, рукам, по халату, надетому на голое тело, зажурчали струи чужой обжигающей мочи. Этого он вынести не мог. Медленно поднялся, не пытаясь увернуться от унижительных струй. Только чувствовал, что тело, будто размерами растет, набираясь силой, и тяжелеют кулаки. И удивляясь несправедливостью, свалил обоих. Посмотрел на зубы, что добавились лежать на полу, и пустился наутек. Бежал, не экономя себя. Но шум от велосипедов за спиной приближался. Коллайдер был пуст, словно вымер. Молчание преследователей пугало. И думал обреченно: «Вряд ли убегу». И готовился претерпеть от них.

Проскочил поворот к пищеблоку, потом к прачечной. Велосипедисты следовали по пятам. Сделал рывок и успел незамеченным свернуть к моргу.

У лифта ждали подъема в патологоанатомическое отделение несколько каталок с покойниками. Рядом – санитары: стояли, сидели на корточках, курили. Он не стал здороваться. Ухватил каталку с покойником, приподнял, уложил головной конец на колено, надеясь, что покойник привязан. Приподнял вторую. Послышался шум колес. Велосипедисты крутили педали, опустив головы. А когда подъехали почти вплотную, встал во весь рост и поднял обе каталки вертикально. Простыни сползли, и голые мертвецы, привязанные к каталкам, предстали во всей красе. У одного сочилась сукровица из-под наклейки на свежей послеоперационной ране на груди. У другой, тучной женщины, швы по средней линии живота разошлись и петли тонкого кишечника, и часть толстого с гнойно-фибринозными налетами, вывалились на бедра.

Санитары знали, каких трудов стоило удерживать каталки с покойниками. И сказал один другому: – «Носорог плохо видит, но при таком весе это не его беда».

Он подержал мертвецов, давая возможность насладиться зрелищем, и толкнул на преследователей. Но тем было уже все равно. Побросав велосипеды и закатив глаза, они ползали по трупам и не сдерживали рвоту.

– Свезите велосипеды ко мне в номер, – попросил он санитаров. – А этим – посмотрел на ползающих мужчин, – дайте обмыться и выведите наружу через котельную. – Вспомнил про остывающую еду для больных. Заторопился. Поправил указательным пальцем несуществующие очки и двинулся обратно...

Перед дверью грузового лифта Клиники толпились врачи. Он поздоровался и протиснул тележку с едой сквозь толпу. Подошел лифт. Незнакомая деваха в сером халате, странно красивая и худая, как молодая Симона Синьоре, отодвинула металлическую решетку. Он вкатил

тележку, помог закрыть дверь. Бросил спиной: – Седьмой! – и принялся разглядывать индикаторные лампочки над головой. Между пятым и шестым этажами неожиданно нажал кнопку «Стоп». Повернулся. Пробрался к девахе. Приподнял, усадил на больничную каталку, крытую оранжевой клеенкой. Задержался глазами на удивленном лице со следами свежих побоев и сунул руку под халат, нащупывая резинку на трусах, – Торопишься? – поинтересовалась лифтерша. – Скажи пару слов для приличия. Не хочу становиться легкой добычей.

Он не стал докучать расспросами: – Новенькая?

– Это все? Тебе будет стыдно потом. – Она не очень старательно отбивалась.

– У нас с тобой разное чувство стыда.

– Мне на твое наплевать. – Она вдруг озаботилась другим или смирилась, и смятение сменила усмешка: – Не копайся. Я без трусов. – Уперла ноги в крышки кастрюль, расставив колени...

– Тем, кто учит, будто грех происходит от деятельности, а блаженство от бездействия, скажи: «Заблуждаются они».

– Что-то не в порядке с эрекцией? – поинтересовалась она.

– Облака мешают. – Он стащил лифтершу с каталки, поставил на пол, шумно шлепнул по заду, подгоняя к двери. Нажал кнопку седьмого этажа. – Мне не нужна легкая добыча. Приходи в Коллайдер. Выпьем спирт.

– Я замужем.

– Не на месяц приглашаю...

Она пришла на следующий день. Стукнула носком туфли в дверь без таблички. Отворила, вошла. Огромное помещение. У дальней стены в полумраке аккуратно сложены каталки без колес, сломанные кардиографы, наркозные аппараты, вакуумные отсосы, бестеневые лампы, штативы для переливания крови, металлические тележки.

Он сидел за операционным столом из нержавеющей стали в джинсах «Леви Стросс», редкостном дефиците той поры, в длинных рыжеватых волосах почти до плеч, большой и сильный, с глубокой ямкой на подбородке, делавшей лицо необычайно значительным и породистым. Рядом пошатывался на круглой железной табуретке такой же большой мужик-андрон в круглых пластиковых очках дизайнера Тома Форда. На затылке андрона оглобли очков были соединены красной резиновой трубкой от системы для переливания крови. Высокий и худой, коротко стриженный ежиком, с аскетическим лицом, мужик поглаживал рукой голубой баллон с кислородом, что стоял рядом, и тоскливо глядел на пустой флакон из-под донорской крови, где недавно был спирт. Его донимали тики: он дергался телом, головой, гримасничал, поправлял не спадающие очки. Над столом покачивался большой алюминиевый чайник, подвешенный толстой цепью к потолку. Под чайником сидела разноцветная лягушка, размером с блюдце, и тяжело дышала.

– Здравствуй! – сказала лифтерша. – Думала, запах в твоих апартаментах – хоть топор вешай. – Она посмотрела на красный пожарный топорик на стене. – А тут чисто, и воздух свеж и душист, будто не март на дворе, и пришла не в подвал, а набрела на земляничную поляну в лесу. Здесь слишком много места для разносчика больничной пиццы.

– О-о-о-н-н н-н-не од-д-д-ди-ди-дин т-т-т-тут... с-с-с-с зем-зем-зем-но-но-вод-д-д... – принялся рассказывать аскетичный заика.

– У меня предложение, – остановила заику лифтерша.

Он вспомнил лифт: – Думаешь, об этом можно говорить вслух? Она не ответила. Достала из-за спины завернутую в газету бутылку и увидела лягушку с золотистой короной на голове. Замерла, готовясь заорать. Однако взяла себя в руки и с ужасом рассматривала земноводное. И не знала, что маленькую корону из жести консервной банки смастерил подвальный слесарь-умелец. А он, выпросив у Киры Кирилловны атравматическую иглу три ноля, «Made in

Scotland», пришел корону к коже головы лягушки. Та понервничала день и привыкла. Корона прижилась и не отторгалась. Организм земноводного не держал ее за чужую.

Лифтерша поставила на стол армянский коньяк без названия с тремя звездочками на этикетке. Мужик-андрон поправил указательным пальцем очки и уважительно зашевелился.

– Тебе хватит, – сказал он. – Пора. Труба зовет.

– Н-не п-п-по-по-мыка-кай, Б-б-бозон. П-пусть б-ба-барышня на-на-нальет ч-чу-чу-чуток. Не за ра-ра-ди п-пьянки ок-к-кайной, а т-т-только да-дабы не от-от-от-вык-к-к-кнуть д-д-д-для. На п-п-п-посох, к-к-ко-короче, – сильно заикаясь, гримасничая и дергаясь телом, попросил мужик-андрон, что развозил баллоны с кислородом и закисью азота по операционным Клиники.

– Главное несовершенство людской природы состоит в том, что цели желаний всегда находятся на противоположной стороне. – Он протянул мужику стакан с коньяком. Тот выпил залпом, поправил очки и пошел к двери.

– Кьеркегор, Серен Обю, – сказала лифтерша.

Он совсем не удивился. – «Поэтому ипохондрик так чуток к юмору, сластолюбец охотно говорит об идиллии, развратник о морали, а скептик о религии».

– И святость постигается не иначе, как в грехе. – Она сняла халат, бросила в кресло.

– А синяки твои где? – поинтересовался он.

– Это был грим для пушей достоверности.

«То же мне, Книпер-Чехова», – подумал он и сказал: – Ты бы еще гонореей заразилась, чтобы вжиться в образ.

– Заражусь, если надо будет.

– Занимаешься не своим ремеслом. Для лифтерши ты прыткая слишком и так усердно гонишься за наслаждениями, что опережаешь их.

– А ты слишком образован, чтобы развозить еду по этажам.

Они роняли слова, подбирали и снова бросали друг в друга, как в стихах Пастернака.

Лифтерша подошла к железной медицинской кушетке, покрытой оранжевой клеенкой. Села с опаской, будто в кресло стоматолога. Дерзко подняла подол платья на бедра. На ней снова не было трусов. Закрутила ноги винтом: – Поторопись!

Он смотрел на женское тело, застывшее в вызывающей позе, и понимал, что вульгарности в ней не больше, чем в земляничной поляне, на которую, чуть было, не набрела сегодня в неведомом лесу. Наклонил чайник несильно. Капнул несколько капель спирта на сталь операционного стола. Лягушка шевельнула телом, как недавно Андрон, но с места не двинулась. Лишь близоруко щурила глаза. Он взял с тарелки кусочек обветренного сыра, положил в лужицу спирта. Сказал: – Давай, Эмма! Здесь все свои. Хватит заботиться о репутации.

– У меня полчаса времени, – напомнила о себе лифтерша.

– Так много?

– А ты привык управляться в лифте за пару минут? – Она улыбнулась, и он впервые понял смысл слов: лучезарная улыбка. Улыбка так сильно растянула углы рта лифтерши, что стали видны все тридцать два зуба – ровные и белые. Лицо преобразилось. Появился румянец. Ему казалось, что умелый театральный осветитель включил нужную подсветку. Это не была вызывающая красота, которая заставляет оборачиваться, а потом утомляет. Это была редкостная тихая красота, не вязавшаяся с ее вызывающим поведением. Красота, на которую хотелось смотреть.

– Я Анна Печорина. Запомнил? – сказала лифтерша. – Встала, подошла. – Можно потрогать ямочку? – И не дожидаясь разрешения, коснулась пальцем подбородка. – Похоже, ты так занят парадоксальностью собственного ума, что ничего не видишь вокруг и не слышишь. И, чтобы скрыть это и замутить истину, какой бы банальной или необыкновенной она не была, придумываешь новые поступки и слова.

– Ты хотела что-то сказать? – попытался пошутить он.

Она даже не улыбнулась и продолжала: – Знаю, ты – Глеб Нехорошев. И делиться истиной не желаешь.

– Человек и есть вопрос, который он задает себе и окружающим, поэтому каждый раз нужны новые слова и другие поступки.

А то, что тебя интересует, даже если мы имеем в виду одно и то же, не истина вовсе, а так – Носитель неведомой информации. Случайное событие. – Он опустился на колени, не зная, что станет делать с этой удивительной лифтершей, знакомой с текстами Кьеркегора, в которой независимость и свобода доминировали сильнее, чем в охотничьих собаках. А еще было прекрасное тело при ней, освещающее в полутьме служебного жилья. Будто стояла обнаженной на облаке под луной, как женщины Боттичелли. Только худая и в спущенных чулках.

– Собственное тело – единственное достояние мое, – вернула его на землю лифтерша. Подняла желтые глаза, такие большие и светлые, что можно было заглянуть прямо в душу. – Хочешь, сниму платье? Лифчика тоже нет. – Она проявляла завидный максимализм и настойчивость в достижении цели, а ему все казалось, что продолжает заниматься чужим ремеслом. – Знаю, тело дразнит и берedit твою душу. Поцелуй меня... теперь ниже... Чем ты занят, разносчик пиццы? С такой расторопностью тебе не совладать со мной даже в поезде дальнего следования. Или, по-прежнему, предпочитаешь лифт?

– Сущность наслаждения не в самом наслаждении..., – затянул было он.

Дверь открыли толчком. Лифтерша не повела бровью. Он тоже не спешил оборачиваться. Останавливаться было поздно, как и продолжать не начатое.

Она пришла в себя первой и буднично спросила, не собираясь поправлять задранное платье. – Вам чего, товарищи?

Он обернулся: у дверей переминались два вчерашних пижона-велосипедиста. Они успели прийти в себя после трепки. В новеньких джинсах Rife, нейлоновых рубашках и вельветовых пиджаках – недостижимой мечте свердловских стилиг – мужики демонстрировали столичный супер стиль. Невысокие, крепкие и сильные, похожие на доберманов, они пришли за реваншем. И понимали, что шансы на победу в замкнутом пространстве велики, и не искали его расположения.

– ГэБэ! – заявила лифтерша и начала приводить одежду в порядок. – Какие у тебя дела с ними? Выкладывай, разносчик.

А у него боязнь этой публикой была в крови: от родителей, которых помнил смутной памятью, от всего воспитания советского: школьного и в пионерских лагерях, в институте, в хирургических отделениях Клиники, психиатрической больнице, на нынешней службе, из газет, из ящика, кино... И думал с ужасом, касаясь указательным пальцем переносицы: «Почему так устроена жизнь, что власть принадлежит только плохим или очень плохим? Кто придумал и позволил это?»

А лифтерша что-то говорила велосипедистам. Видимо, приятное, потому как доберманы присели на задние лапы, зажмурили глаза от удовольствия и позволили погладить себя.

«Пора выяснить чего они хотят?», – подумал он, стараясь разглядеть передние зубы пришельцев. И сказал: – Сырокопченую колбасу не предлагаю. А чаем могу напоить. Или пробежимся до морга. Те двое на каталках, что торопились на вскрытие, поджидают вас.

– Остынь. Мы не в поезде дальнего следования, – попыталась остановить его лифтерша, но он продолжал:

– Хотите, привезу сюда обоих вместе с каталками?

– Не трудись. Ты не сделал ничего дурного. Правда, мальчики?

«Мальчики», видимо, так не считали. Ему показалось, что лифтерша хорошо знакома с доберманами-велосипедистами. И собрался спросить, давно ли дружат, но не успел. Анна Печорина продолжала удивлять проницательностью:

– Вам лучше договориться, мальчики. Стиляги не вспомнят про трепку и выбитые зубы, а ты не будешь спрашивать, зачем они здесь? – И вышла в Коллайдер.

Двое, похожие на сильно повзрослевших гайдаровских Чука и Гека, уселись за операционный стол на круглые железные стулья. Тот, что казался слабее и носил очки, взял бутылку, разлил содержимое по стаканам. Выпили. Посидели, пьянея. Не вставая, он потянул вниз чайник. Наклонил. Подставил свой стакан. Наполнил до половины. Потом стаканы велосипедистов. Долил водой до краев. Они снова выпили, так же молча и безрадостно, будто исполняли долг или несли повинность.

Когда он еще раз зарядил стаканы спиртом из чайника, тот, что был в очках и казался слабее, спросил, стараясь внятно артикулировать: – Что ты здесь делаешь?

– Раньше надо было задавать вопросы. – Он быстро пьянел, теряя контроль, но продолжал говорить. И в невнятной сумятице слов, в бесформенности речи с трудом угадывался смысл, будто говорил на чужом языке:

– Интерактивные ритуалы как виды взаимодействий между людьми андроны Коллайдера на моей стороне система ценностей поспешим философия символических форм котлеты с макаронами остывают лифтерша с демонстрацией собственного тела и смыслов мартовские иды пусть убираются критерии успешности в жизни истопников пора за едой для больных двое с мессианским уклоном подождут ко всем чертям домашний патологоанатом снова спирта не хватило...

Пришельцы смотрелись не лучше. Забыв про долг и повинность, они дремали на неудобных круглых стульях без спинок, положив головы на операционный стол. И вздрагивали телами, восстанавливая равновесие.

Он собрался сказать, что достижение взаимного понимания невозможно и что лучше им проваливать. Однако пропитанный алкоголем поток сознания продолжал движение по наезженной колее: – Теория идей как копий впечатлений не воспринятые вещи мир победит войну тридцать пятый президент Соединенных Штатов другое достоинство этого недостатка вошедшая в привычку набожность лабораторные испытания теории пространства и времени не проводились Джон Фитцджеральд Кеннеди по прозвищу JFK...

Последние слова пьяного монолога пробудили велосипедистов, будто колокол зазвонил над ухом или кто-то в воду столкнул. Они встрепенулись, выпрямились, строго и трезво посмотрели на него. И не заметили, как стена с красным огнетушителем, пожарным топориком и вымпелом победителя социалистического соревнования исчезла. Ее место от пола до потолка заняла черная зияющая пустота, холодная и густая. И сразу в ней появилась трехмерная картинка чужого звездного неба без Млечного Пути. «Такого неба первый советский космонавт, не видел», – подумал он. Камера стремительно наращивала скорость. И взвешенная квантовая пена, что населяет мглу Вселенной, заполнила служебную комнату. Из пены возникла область классического пространства-времени. Такая чистая и стерильная, будто старательные санитарки отмывали ее целую неделю сулемой и нашатырем. А потом высоко над головами, по Мирозданию, проехал красный Эммин трамвай...

Когда картинка потемнела и исчезла, и снова стали видны огнетушитель, топорик и вымпел, про который Андрон любил говорить: «В-в-вы-вы-вымпел и за-за-ку-ку-сил», слабый поднес чайник ко рту. Сделал большой глоток. За ним выстроился второй, что был сильнее, и терпеливо ждал очереди.

Выпив, они подхватили его подмышки и потащили к двери. У выхода из служебного помещения полукругом, в несколько рядов, стояли андроны. В серых халатах и без, с такими же серыми лицами, с обугленными от водки желудками, с туберкулезом и циррозом печени у многих. Они месяцами не выходили на воздух, не мылись, не стригли ногти. Только пили. Некоторые падали на бетонный пол Коллайдера. Другие чудом держались на ногах.

– Позвольте нам уйти. Пожалуйста! – попросил слабый.

– К-ка-ка-ко-го х-х-ху-ху... пи-пи-да-да-да-ра-ра...? – поинтересовался Андрон.

– Зачем вам понадобился Бозон? – помог ему кто-то.

– Прошу разойтись и дать нам пройти! Пожалуйста! Иначе вас уведут отсюда силой. – Слабый не походил ни на милиционера, ни на офицера КГБ. Однако вытащил из кармана красное удостоверение. Покрутил над головой. Лучше бы ему этого не делать. Пьяная, разношерстная, пошатывающаяся толпа вдруг сплотилась в могучее стадо с единым разумом, который не превозмочь. Личности стерлись. Сила приобрела объем.

«Если в партию сгрудились малые – сдайся, враг, замри и ляг!» – трезво подумал слабый и спрятал очки. Второй неумело сделал вид, будто лезет подмышку за наганом.

– Н-ни ч-ч-что так не п-п-п-портит це-це-цель, к-ка-ка-как выс-выс-выс-трел, – предупредил голос Андрона из задних рядов, про который не скажешь: «невнятно склонный к заиканию».

– Пусть храбрец выйдет и повторит, – вежливо попросил слабый.

Я т-ту-ту-тошний ра-а-а-бо-бо-тник. Анд-д-д-дрон – м-м-мое н-н-настоящее имя, – сказал смельчак, пробираясь на авансцену. Поправил кислородный баллон на плече, очки. – Вы оба – т-та-такие же м-м-менты, как мы – л-леле-тчи-тчи-чики. – И добавил негромко, не матерно вовсе: – Н-не-несит-т-т-е его обратно, не-т-т-то зас-с-ставлю выкрасить стены в Коллайдере.

Велосипедисты не стали упорствовать. Затащили безжизненное тело обратно. Уложили на операционный стол, запамятовав по дороге, зачем им понадобился разносчик больничной пиццы. Только слабый спросил равнодушно: – Что ты знаешь про JFK? – И не стал дожидаться ответа.

– А теперь проваливайте! Мы сами п-позаботимся о нем. Он н-не т-т-так п-пьян, если лежит и не держится за п-пол. – Андрон почти перестал заикаться.

Через час или полтора Глеб Нехорошев, по прозвищу Бозон, зашевелился на операционном столе. Сел, трудно осознавая себя и контуры жилья. Потянулся, распрямляя затекшее тело. До чайника со спиртом рукой подать, а до крана с водой путь не близкий. И тащиться туда не хотелось. Поднял руку. Наклонил нос чайника ко рту. Выдохнул и сделал глоток. Прислушался, сделал второй. И сразу серое жилье без окон заиграло всеми красками, будто под солнцем. И блики от приборов из нержавеющей стали нежно подрагивать по стенам, по потолку, подгоняемые ветром, которого тоже не было.

Слез со стола. Подошел к медицинскому шкафчику со стеклянными дверцами. Нагнулся, присел, чтобы видеть себя целиком. Замер, бесцельно уставившись в отражение. Тридцатилетний мужчина, высокий и сильный, с длинными рыжеватыми волосами до плеч, что доставляли кучу хлопот и служили причиной постоянных придинок администрации Клиники. Однако расставаться с волосами не желал. Удлиненное, как у всех высоких людей, лицо с парой бородавок на щеке. Большой рот. Ямка на подбородке. Хорошие зубы. Великоватый нос. Шея бойца или борца усиливала впечатление мощи и силы. И большие круглые глаза, зеленые с рыжим, ленивые и строгие, прикрытые ресницами такой длины, что хотелось взять двумя пальцами и потянуть. Сейчас лицо было отечно и помято после масштабной выпивки с двумя пижонами-чекистами-милиционерами.

Он отвернулся и уставился на покачивающийся чайник. А тот гипнотизировал начищенным алюминиевым боком, погружая в транс не хуже грибов, что росли в дальнем углу служебного жилья, настоек из которых попивал иногда. И тогда жилье пугающе сжималось. Стены сужались, почти соприкасаясь, и грозили раздавить. А когда страх достигал предела, раздвигались и исчезали, и потолок тоже. Он оставался один, возвышаясь над материальностью окружающего мира. И смутно сознавал, что содержание его нынешней жизни, полнота и адекватность восприятия, и подлинная сущность, лежат вне его сегодняшнего. И, отторгнутый от самого себя, понимал, что может жить еще и в прошлом, и в будущем тоже, только не знал, как.

Толкнул рукой чайник и двинулся к полкам на поиски Операционного журнала размерами с телефонный справочник. Журнал был пронумерован, прошит через все слои суровой ниткой, скрепленной сургучной печатью, чтобы не вырывали листы. В прошлый раз он запрятал журнал, который хранил в дорогом кожаном портфеле, подаренном ГФ, так далеко, что не мог вспомнить, куда. А сейчас, когда вспомнил, не хотел доставать, страшись неведомых последствий. Однако преодолел неправильные мысли. Достал портфель. Положил журнал на операционные стол. Раскрыл. Перелистал страницы. На каждой – отпечатанные типографским способом – место для фамилии больного, диагноза, названия операции, фамилии хирурга, ассистентов, анестезиолога, операционной сестры. А дальше – снова чистое место для протокола операции, для рисунка, если потребуется, и эпикриза.

Вернулся к первой странице, где было несколько строчек от руки, неряшливых и корявых, что обычному человеку не прочесть. *«Писателю следует набрасывать свои размышления, как придется и сразу отдавать в печать, потому что при последующей правке могут появиться умные мысли»*. В этой фразе Кьеркегора было что-то успокаивающее. *«Главное – решить, о чем писать: о мотыльках, про Бога или положении евреев»*. С этим было ясно. Он точно знал, что не про евреев.

«Ничто так не искажает картину мира, как воображение художника». Короткая строчка настораживала, но не настолько, чтобы перестать действовать в этом направлении. *«Память – это дневник, который фиксирует то, чего не было и быть не могло»*. С этим нельзя было не согласиться. *«Анализ показывает, что радикальный гедонизм не может привести к счастью»*. А эта смущала загадочностью и никак не давалась в ощущениях.

«Мы уверены, что человек добр от природы. А на самом деле человек добр, только проходя путь и только под знаком формы, естественным образом ему не данной. Она сверхъестественна. И как только мы нарушаем этот не расчлняемый тезис, в ход идет наше сошедшее с рельсов мышление...». Эта посылка философа Мераба Мамардашвили, как ему казалось, не нуждалась в дополнительных комментариях и была очень близка и понятна, поскольку точно описывала происходящее с ним. По крайней мере, в философских терминах эстетики мышления. Что касается понимания остальными, то самым аккуратным ответом было бы: «это их проблемы» или «ну и пусть».

К сожалению, он не знал тогда, каким бы глубоким и основательным не станет вскоре внутренний опыт его личности, сколь богатым не будет духовный мир, все это канет в неизвестность, если не сумеет описать полноту своего бытия и тем продлить его. А еще не знал, что познание само по себе награда. И что в гораздо большей степени упреки по части понимания следует адресовать читателю; понимающей деятельности его сознания, которая может быть поставлена под вопрос. И что вопрос этот не за горами.

Каждая из строчек последовательно появлялась в Операционном журнале в тот момент, когда болезненное и чуждое пока желание выразить себя с помощью текстов, становилось невыносимым. Поселившееся в нем с недавних пор – он подозревал, что не само собой, а привнесенное кем-то и даже смутно догадывался кем, – оно было, как говорил Андрон, сродни мучительному похмелью после большого бодуна, когда утром под рукой нет ни водки, ни пива. И чтобы понять состояние свое, брался за перо – прекрасную ручку Parker с золотым пером, подаренную Кирой Кирилловной, как и этот незаполненный Операционный журнал.

И не писать не мог. Ему казалось, что беремен. Это было почище бодуна. Подходило время и тексты, будто плод, начинали проситься наружу, и не удержать их. Только смущался и робел перед чистым листом бумаги.

Вряд ли на первых порах его интересовало качество будущих текстов: родится ли маленький уродец или сподобится создать литературный шедевр. Главное написать несколько простых строк... неважно о чем. Это, как стук в чужую дверь, чтобы впустили... а там, в доме, среди жильцов, писание про них станет таким же естественным и простым, как... как доставка

еды в отделения Клиники. И тогда можно будет докопаться до истины, о которой так нервно говорила вчера лифтерша. И успокаивался, что, к счастью, добраться до истины этой не поздно никогда. И был уверен, что истина в нынешних делах – это то, чего не знает и не видит пока. То, что должен выразить в понятных терминах, рассматривающих жизнь его, как научный эксперимент над самим собой. Как попытку, притязающую на познание окружающего мира и свое место в нем. Или, как попытку ввести в заблуждение. Или, наоборот, снискать оправдание своих намерений в глазах тех, кто верит в него и любит. Вопрос в том, чем он готов пожертвовать? И с горечью признавал: ради истины, какой бы она не была, жертвовать не готов ни чем.

И неважно, будет ли это поступок или роман, стихи или пьеса, которую никогда не поставят в местном театре. И роман, конечно, никогда не издадут, даже если... Не стал додумывать. Захлопнул журнал и написал по латыни на обложке: «*Non ad typ, non ad edit*».¹ А потом озабочился другим: можно ли добраться до сути цветка, обрывая лепестки один за другим? И не знал ответа.

Ему показалось, что дверь, в которую так долго звонил или стучал, вдруг открыли. Смущаясь и стыдясь, шаркая ногами о старый коврик у входа, не зная, следует ли первому протягивать руку для приветствия, двинулся вглубь дома. В светлую комнату, где его поджидал Операционный журнал с чистыми страницами. Сел за стол. Вынул ручку. Посмотрел в окно, будто в словарь. Коснулся пальцем переносицы и, робея, склонился над листом...

¹ Не для печати и не для издания (лат.)

Глава 2

Чужое ремесло

Она проснулась от жажды. Во рту было сухо и никак не удавалось облизать губы шершавым языком. Одежды на теле не было. В голове укором гудел большой колокол, и каждый удар отзывался тяжелой болью в затылке. Она подумала, что ближе к вискам и ко лбу мозгов меньше, поэтому там не так болит. И старалась успокоиться этим. Но тошнота напомнила о себе таким мучительным позывом, что миг совладала с непослушным телом, выбралась из постели и, не узнавая большой двухкомнатный номер, бросилась на поиски ванной.

А когда вернулась, увидела в кровати двух мужчин, что спали, уткнув лица в подушки. Воротилась в ванную, сунула пальцы в промежность и замерла, ожидая, как густая липкая жидкость со специфическим запахом знакомо потечет по бедру, по голени, неприятно холодея на коже. Но там было сухо. И подумала: «Значит, педы, – вспоминая разговоры на факультете про странную дружбу. – А, может, презервативы? Да, да. Нашли пакетик на заснеженных трибунах стадиона и натянули по очереди... в том состоянии, в котором находились».

Снова отправилась в ванную и привычно казнилась там. В этот раз с особым старанием. А потом, не утруждаясь этикетом, сдернула одеяло с кровати и принялась кричать что-то про правила социалистического общежития и социалистическую мораль, и что пора на службу, хотя знала: на работу идти не надо.

А двое продолжали спать так безмятежно, что накал обличительных текстов угас. Она подошла к окну. Поглядела на сквер с кучами черного снега на клумбах. Подумала, что снег уже с неба падает черным на город, и принялась вспоминать, восстанавливая картину вчерашнего. И яркие в достоверности своей кадры хаотично замелькали в затопленном алкоголем мозгу.

Эти двое в постели – ее бывшие однокурсники по журфаку МГУ, что успели стать известными на всю страну журналистами: один – в «Известиях», другой – в «Комсомольской правде». Кирилл и Михаил – на факультете их называли Кирилл и Мефодий, – стилижные тридцатилетние газетчики, умные, ушлые, циничные фарисеи. И приехали они в Свердловск не за песнями, а спецкорами, писать репортажи с открывшейся вчера Первой зимней олимпиады народов СССР. Встретились на приеме в Горисполкоме. Долго узнавали друг друга, обнимались, шутили, говорили ей комплименты, осторожно приподнимали юбку, чтобы убедиться в отсутствии штанишек – ее коронном номере в студенческие годы. А она приседала, прижимая юбку к коленям, улыбалась и говорила: – Дурни, зима на дворе.

А потом залегли в кабинете Председателя Горисполкома, заедая водку байкальским омулем, которого никто из них раньше не ел и не видел. А когда поплыли немного, последовало приглашение от Первого Секретаря горкома партии, что прислал за ними машину.

ПС удивил скромным чаем с печеньем, конфетами и любовью к спорту зимой. Ей скоро наскучили официальная беседа ни про что. Она встала, прошлась по огромному кабинету с тяжелой мебелью «с глазами» из карельской березы и видом на городской пруд. Поглядела на пару больших картин местных художников в дорогих рамках с плавкой стали на одной и комсомольским собранием в цеху на другой. И замерла перед шкафом на высоких тонких ножках у дальней стены. Она впервые участвовала в таком высоком визите и не знала, как себя вести, поэтому вела, как обычно, кое-как.

– Думаете, читателям вашей газеты не интересны успехи Свердловска в партийном и хозяйственном строительстве? – поинтересовался хозяин кабинета.

– Думаю, – демонстративно ответила она спиной. – Мне кажется, задача хорошего газетчика не успокаивать, а смущать читателя. Наши газеты на такое не способны. – Помедлила и,

чувствуя себя бунтарем и коллаборационистом одновременно, повернулась: – Я собкор «Пионерской Правды» по Уралу. Смущать пионеров – моя главная задача.

– Я знаю кто вы. И фамилию вашу замечательную помню – Печорина. Чем вас привлек этот шкаф?

– Наша подруга чувствует присутствие дорогой выпивки сквозь стены, – пришел на помощь Кирилл.

ПС улыбнулся. Распахнул дверцы. Шкаф был заставлен бутылками с алкоголем разных сортов, стаканами, рюмками, термосами для льда, а еще – никогда невиданными маленькими бутылочками Кока-Колы. Она бы удивилась меньше, завидев в шкафу самурая с мечом или проститутку: одну из тех, что ночами стоят на ступенях свердловского Почтамта.

Хозяин нажал кнопку вызова: в кабинете появился помощник, высокий и преданный. Без тени улыбки, старательно и серьезно, будто раздавал повестки очередного пленума Горкома партии, расставил напитки, стаканы и рюмки, блюда с лимонами и черной икрой, сваренные вкрутую и разрезанные пополам яйца, тарелки с севрюгой, маслины...

Она хорошо помнила середину гулянки в кабинете ПС: дружеские объятия, обещания вечной дружбы, беззаветного служения родным газетам. А еще статьи в «Комсомолке» и «Известиях» про успехи Свердловска и заслуги ПС.

Помнила, как оказалась в комнате отдыха за дверью, что была в дальней стене кабинета. Удобный кожаный диван, такое же кресло и столик такой же с инкрустациями по дорожному дереву с «глазами». И несколько хороших картин маслом на стенах. Настолько хороших, что даже слепому было ясно, здесь не место им. Она узнала два уральских пейзажа Мосина, необычно глубоких и драматичных, обращенных внутрь холста, с поразительной чередой трансформации красок и форм. И удивилась тайной приверженности ПС хорошей живописи, потому как публично он яростно громил художника на всех собраниях и съездах за хулиганствующее искусство.

– Вы еще не утратили вкус к дорогому алкоголю? – услышала она благосклонный голос ПС.

– Нет еще, – успокоила. – Заряжайте.

– Есть предпочтения?

– Все равно. – Она невнятно улыбнулась.

ПС мирно позванивал бутылками и стаканами, а она рассматривала его спину, обтянутую дорогой пиджачной тканью. Совсем не старый. С короткими густыми волосами с сединой и модными австрийскими очками. И собралась охмурить его в надежде попользоваться безграничными возможностями первого человека города, И понимала, что партийные ухаживания ПС – если начнутся, конечно, – осторожные и трусливые, могут продлиться несколько месяцев, прежде чем отважится залезть под юбку, а она попросит об услуге взамен. И сказала отважно:

– Выпьем за вредные привычки! – И решилась вдруг на оральный секс – неслыханное по тем временам кощунство, граничащее... она даже не смогла найти подходящего сравнения. Да еще в служебном кабинете Первого Секретаря горкома партии. И почувствовала себя овечкой, что пришла к волку за оргазмом. Воспитанная в строгих правилах редакции «Пионерки», которой много лет заведовала старая дева-моралистка, умная прекрасная газетчица, она в пику ей, как и многие ее коллеги, позволяла себе порой такое... А память услужливо подсовывала сцену из «Красного и Черного», и молодого Сореля, что испытывая жесточайший страх и душевные муки, кладет руку на колено мадам де Реналь под обеденным столом в присутствии мужа. Господи! Руку на колено. Оглянулась на дверь, за которой пьянствовали коллеги. Подошла к ПС. Коснулась грудью партийной спины, чувствуя, как внутри все трясется от безразсудства.

В ней не было желания. Сексуальный лифт прочно застрял под крышей, заблокированный страхом и нездоровым спортивным азартом, будто прыгала с парашютом, как родная сестра в Перми. Спина ПС неожиданно напряглась, возбуждаясь или негодуя. Казалось, про-

шла вечность. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь уже поскорее отворил дверь. Но он вдруг повернулся. Взял за плечо. Провел ладонью по лицу, по груди. Помедлил и сказал осторожно:

– Порой, чтобы оказаться на верном пути, следует свернуть с правильной дороги. – И замер, не решаясь на продолжение. Продолжила она. Приблизила лица, осторожно втянула в рот верхнюю губу ПС, неожиданно упругую и гладкую, и сразу партийная пушка под одеждами коснулась ее живота.

Она наблюдала себя со стороны: молодая женщина, с румянцем на щеках от выпитого, изнывает в старании доказать мужчине серьезность его сексуальных намерений. И смятенно пересчитывала в уме варианты: заявить ли вслух о постыдном желании своем или молча раздернуть молнию на брюках? И выбрала второе. Руки пробежали по груди, успев расстегнуть пару пуговиц на рубашке. Поплутали по животу. Помедлили там, где брючный ремень, будто споткнулись, и двинулись дальше. Она не была уверена, что теперь он в ее власти. Что он также искренен в добродетели своей, как она в пороке. И понимала, что эта выходка может стать концом успешной карьеры.

Места для желания в теле так и не нашлось. В голову лезло странное из классических университетских наук: «методологическое принуждение». Его сменил повторяющийся рефрен: blowjob, blowjob, blowjob.² Но вслух произнести запретное слово или его французский аналог не решалась. Опустилась на колени, чтобы было удобнее. Подумала, что подобное безрассудство в кабинете ПС граничит со святотатством. Прошептала: – Ну и пусть. – И нащупала застежку на брюках. Медленно потянула вниз и принялась кропотливо трудиться...

А потом провал в памяти. Ни горкомовского ЗИЛа, что отвез ее домой, в двухкомнатную квартиру в центре города, ни продолжения party дома с разнуждавшимися журналистами, в которых пробудившаяся некстати творческая энергия искала выхода. Ее пытались посадить на люстру или накормить хлебом, размоченным в водке, которую подарил ПС... или раздеться всем, кто быстрее...

Поздно вечером та же машина отвезла их в гостиницу «Большой Урал». В ресторане после водки с пивом она немного пришла в себя и, рассеянно ковыряя вилкой котлету по-киевски, наблюдала, как бывшие сокурсники, трудно перемещаясь по залу, не очень старательно кадрили ресторанных девок. И была готова предложить им собственное тело – единственное достояние свое, которым не слишком дорожила в тот вечер. Но для двух журналистов еще действовал университетский запрет на нее. А потом в гостиничном номере табу, похоже, истаяло.

Она принялась искать водку, чтобы извечным этим средством усмирить похмелье. И нашла неожиданно много вместе с едой, аккуратно уложенной в бумажный мешок, которым ПС напоминал об обещанных статьях в двух самых читаемых газетах страны. Налила в чайный стакан на треть, подняла, посмотрела на просвет, долила до половины и выпила. Замерла, давая водке перебраться из желудка в кровь, откусила от бутерброда с черной икрой и сразу почувствовала блаженную легкость в теле.

Возродилась, стала почти здоровой. И была готова вместе с московскими газетчиками снова ехать на Центральный стадион, чтобы, комфортно устроившись в ложе прессы и закутавшись в плед, изредка прикладываться к бутылке. И чувствовать на себе любопытные взгляды пишущей и фотографирующей братии. И посмеиваться над бывшими однокурсниками, бичующими себя за вчерашнее, более всего похожее на инцест.

Она оделась, подумывая о втором стакане, прежде чем разбудить коллег. Но в голове тягостно прозвенел звонок, будто вызов в кабине грузового лифта. И обеспокоилась, и заозиралась, и принялась мучительно вспоминать не проговорила ли спяну про сумасшедшую историю – другого определения не находила, которую узнала недавно в Ревде и хранила в себе за семью печатями...

² оральный секс (англ.)

В январе по заданию редакции она отправилась в Ревду – небольшой индустриальный городок на западе Свердловской области, добывавший руду и выплавлявший металл, как все городки на Урале. В клубах желто-зеленого, черного и белого дыма над крышами домов, в запахах окислов чугуна и меди, сероводорода и угарного газа, без деревьев и травы – только деградировавший низкорослый кустарник, что держит дым в тонких ветках, – город не был приспособлен для жилья.

Но жители этого не знали и селились по берегам озера и реки Ревды, впадавшей в Чусовую. Река и озеро тоже ничего не знали про экологию, про «зеленых» и что такое рыба, тоже. И послушно впитывали в себя коммунальные отходы, частые промышленные выбросы и не замерзали зимой.

Ей предстояло написать заметку с дежурным подзаголовком «Письмо позвало в дорогу» про местную школьницу, что спасла на пожаре ребенка. Так было написано в телефонограмме, присланной из редакции. Она рассчитывала управиться за пару часов и не стала заказывать гостиничный номер.

В школе девочки не было. Классный руководитель – улыбчивая молодуха, толстая и белая, с круглым, как тарелка лицом – сразу поскуичела, когда Анна Печорина назвала имя школьницы.

– Да, Оля Русман моя ученица, – сказала учительница, поджав губы, и рот стал похож на куриную попку. – Их дом недавно горел. Но кто, как и кого спасал неизвестно. Неизвестно, кто поджег и кто потушил. – Она тяготилась, но продолжала нагнетать неприязнь к девочке и себе. – И учится Русман, спустя рукава: одни тройки. Грубит. Отец тунеядствует. – Учительница снова поджала губы. Полные щеки задрожали.

Ей показалось, что молодуха сейчас снесет яйцо. Подавила улыбку, спросила, стараясь так же строго поджимать губы: – Не любите девочку? За что? – И стала дожидаться ответа. Но учительница не пожелала вступать в дискуссию и, сославшись на занятость, двинулась к лестнице.

– Дайте хотя бы адрес!

– Улица Ленина. За вокзалом. Обгоревший дом...

Печорина потащила к вокзалу, по-детски заглядывая в окна одноэтажных домов с медленно цветущей геранью и фикусами, воинственно торчащими сквозь закопченные стекла, в надежде увидеть что-то необыкновенное. Добравшись до вокзала, попыталась найти обгоревший дом. Не смогла и принялась выискивать прохожих. Увидела бетонного Ленина, необычно худого. Подумала: «Немудрено, в таких условиях». Подумала еще, что в городе, добывающем железо и медь, его могли бы отлить из металла. А он сиротливо стоял на площади с поднятой рукой, указывая дорогу. Кроме вождя мирового пролетариата в округе не было ни души.

Прождав автобус, отправилась пешком по маршруту, указанному Ильичем, в надежде сверить курс по дороге. Черный и белый дым привычно развеивал ветер. А густой желто-зеленый цеплялся за углы крыш, за трубы, застревал, накапливаясь, у стен домов, слезил глаза, заставлял противно кашлять. А потом, на снегу, желтое смешивалось с зеленым в темно-синий цвет, не существующий в природе.

Безлюдная улица казалась бесконечной, уставшей от промышленного бытия. Бетонный Ленин у вокзала не в счет. Быстро темнело. Услышала пугающие неотвратимостью шаги за спиной: медленные и тяжелые, как поступь Бронзового, что гнался за Нильсом в сказке Лагерлеф. И почувствовала такую беспомощность и страх, что собралась заорать и броситься вскачь. Оглянулась: Ленина на далеком постаменте не было. Значит, вождь припустился за ней, как простой сарацин. Только за что? За вольнодумство про памятник? За то, что исхудал? За рапунство? А вы сами, Владимир Ильич? В университете в Казани вытворяли такое... а потом с Арманд, а до этого с Еленой Лениной. Надежде Константиновне не позавидуешь.

Она бежала, что было сил, как Нильс Хольгерссон, даже быстрее. Однако вскоре выдохлась, перешла на замедленный бег, как на средние дистанции, а потом и вовсе зашагала. И вполголоса бранилась изошренно и зло на каменного Ильича, на мороз, на сучку-учительницу, на первобытную советскую неустроенность во всем. Сто раз собиралась повернуть назад и не поворачивала. А когда увидала большой обгорелый двухэтажный дом из редкостного здесь красного кирпича, что враждебно смотрел на нее лопнувшими стеклами окон, выдохнула с облегчением: – Мать твою!

Полная белобрысая, похожая на колобок, прикрытый соломой, Оля Русман из 7Б стояла в дверях и надменно тарасилась на нее, на модные сапоги, на сумку, шубу из лисы. Прошел час, прежде чем девочка спросила: – Вам чего?

Анна успела улыбнуться, и сразу невидимая сила подхватила, приподняла над землей и оставила там. Она приготовилась упасть и удариться о землю, но не падала. От этого становилось еще хуже и больней. Потом кто-то стащил с ноги сапог. Не открывая глаз подумала: «Значит, все-таки догнал Ильич». И задержала ногами.

Из мучительного ожидания ее вывело падение на землю, замедленное и безболезненное. Она собралась вскочить на ноги, но не успела и покатила вниз, будто с горы, укрытой глубоким снегом. И куврякаясь, и беспомощно размахивая руками и ногами, старалась разглядеть и понять бездорожье, по которому стремительно удаляясь от дома.

Спуск внезапно прекратился. Она помедлила, села, оглянулась. Семиклассница Оля Русман, по-прежнему, стояла в дверях и тарасила глаза. А рядом с девочкой замерли два мужика-тунеядца в ношенных тулупах. Один держал в руке сапог.

Невероятность происходящего требовала действий. Она набросилась на тунеядцев и бессмысленно размахивала сумкой в тщетной попытке отобрать сапог.

Девочка что-то сказала. Мужик протянул сапог. Анна Печорина не унималась и не видела протянутой руки. Продолжая размахивать сумкой, протиснулась на кухню. Села, достала сигареты, закурила, стараясь подольше задерживать дым в легких, и пошевелила пальцами замерзшей ноги.

В уцелевшей от пожара кухне кроме запаха гари, чувствовалась напряженность, будто дом старался сообщить о непричастности к пожару, скрыть беспорядок и необжитость.

Просторное помещение напоминало сцену. Из мебели – только стол с табуретками. В дальнем углу печь и раковина. Окна и стены покрыты копотью. Разводы от пролитой воды на потолке. В сумраке они кажутся декорациями к спектаклю, что сулит героям одни напасти. Сейчас появятся действующие лица.

Первой подошла Оля Русман. Не по-пионерски дерзко уселась на стол. Анна Печорина начала догадываться о причинах нелюбви классного руководителя к девочке. А та, помахивая полными ногами в валенках с чужого плеча, сказала: – Знаю: вы – из «Пионерской Правды».

Анна не стала отвечать, не достала удостоверение. Молча сидела и растирала замерзшую ногу, стараясь прийти в себя. А когда пришла, спросила, забыв про недостающий сапог:

– Как ты делаешь это?

– Дак вы про пожар и брата-то?

– Про все. А где он?

– Кто? Брат-то? – Она медлила, будто не знала, где брат. Появились мужики-тунеядцы, которые поднимали ее вверх-вниз, как в лифте. Один подошел, протянул сапог.

Девочка что-то сказала. Мужики дружно двинули в дальний угол и вернулись со стаканом горячего чая, тарелкой вареной картошки, кругами толсто нарезанной «Любительской» колбасы и большими солеными груздями.

Печорина проглотила слюну, забывая про журналистский долг, про героическую пионерку и странные события, что случились с ней во дворе. Сунула в рот горячую картофелину,

надкусила кружок колбасы и принялась жевать. Прошел час, прежде чем сказала: – Ну, выкладывай. Времени у нас вагон. И про мужиков тоже.

Семиклассница Оля Русман не подумала слезать со стола. Поерзала и сказала тоненьким слабым голосом:

– Ну, это... когда загорелось-то, темно уже было. Я на кухне-то уроки готовила. Отец – в гостях. Брат Колька наверху спал, значит. Когда дым-то повалил, напугалась, выбегла во двор. Дак горит, вижу второй этаж и Колька там. Ну, бросилась, значит, наверх, не помню, как. Только жгет, помню. А как брата-то в огне нашла, тоже не помню, и как спустилась...

Анна слушала в пол-уха и думала про себя: «Героизм – одна из самых недолговечных профессий». А еще думала: «За водкой пионерку в лабаз не пошлешь и мужиков-лифтеров, что кидали меня вверх-вниз, тоже. А сгонять самой – не поймут». И спросила буднично, будто про карандаши: – Спиртное в доме есть?

Девочка посмотрела на лифтеров. Те зашевелились. Двинулись в дальний угол кухни, где был нарисован очаг на стене. «Там у них, наверное, и роль стоит», – подумала Анна. Мужики вернулись, не мешкая, с початой бутылкой грузинского коньяка без названия и двумя чайными стаканами.

Пионерка отхлебнула из своего. Заедать не стала и путанно продолжала рассказ. Анна Печорина слушала и не удивлялась, и коньяку тоже. Лишь поглядывала в дальний угол в надежде увидеть рояль. Подливала в свой стакан и грела его руками, и снова подливала, и грела. И так увлеклась этим занятием, что не заметила, как из темного кухонного угла выбрался мужчина – тих и неказист, – невысокий, темноволосый, с яркими синими глазами, и такой худой, что едва держался на ногах от выпитого. И сразу увидела рояль за его спиной. Большой черный концертный рояль с поднятой крышкой. Только надпись не прочесть отсюда. Мужчина подсел к столу и принялся постукивать пальцами по выщербленным доскам, пока лифтеры-тунеядцы не притазили из очага на стене вторую бутылку грузинского коньяка, тоже початую.

– У нас в доме сухой закон, – запинаясь, сказал худой, без тени улыбки.

– Уж лучше сухой закон, чем вовсе без выпивки, – поддержала Анна Печорина.

Он сделал большой глоток из горла и, трезвея на глазах, сказал: – Майор Карл Русман. Бывший майор Русман. Папа школьницы Оли Русман. – И погладил девочку по голове.

А ей вдруг до смерти захотелось перетасовать предметы на кухне. Подойти к роялю. Заглянуть за оранжевую клеенку с неумело нарисованным очагом, скрывающим дверь к настоящему огню, чтобы утвердиться в подлинности своего существования. Потому что вдруг показалось: в обгоревшем доме происходит только то, чего не ждешь. Почувствовала в себе раздвоенность деревянной куклы-марионетки, которую дергает за ниточки неизвестный кукловод, не обращая внимания на ее душевную сущность и амплуа. И если совпадут они с правдой, станет играть самое себя, а не выдуманную кем-то роль. Как играют свои майор запаса папа Карло и его дочь, что напиваются и согреваются видом, нарисованного на стене очага. И не желают заглянуть за оранжевую клеенку, скрывающую дверь к настоящему огню, с настоящими, а не нарисованными похлёбкой и выпивкой...

Между тем алкоголь и пары творческой эманации делали свое. Она все меньше понимала происходящее, все более проникаясь верой в него. И рассказы бывшего майора, что бубнил про недавнее прошлое, раздевал глазами и ощупывал тело, не раздражали. А он, похоже, оставался доволен осмотром, хоть сидел неподвижно с низко опущенной головой.

Из невнятного бормотания папы-майора выходило, что последние несколько месяцев жизнь обитателей дома давала трещину за трещиной. – Я выражаюсь фигурально, – сказал майор, пытаясь поднять голову. И не смог. И оценить ущерб или выгоду от трещин, следовавших одна за другой, тоже не смог. И принялся путанно и сбивчиво перечислять их. И первая – про этот дом, что недавно достался ему задаром неведомо от кого, как сказали в горисполкоме.

Зачем ему такой огромный дом? И сдавать внаем по условиям дарения нельзя, да и некому здесь.

Они перебрались с бутылками к роялю. Майор помолчал, трудно поднял голову, отхлебнул коньяк и продолжал осторожно: – Про очаг, нарисованный на клеенке, ты правильно подумала давеча. Он прикрывает дверь. Только открыть не смог. Знаю, там настоящий огонь, настоящая выпивка и еда... вот рояль выкатили оттуда. – Он снова приложился к бутылке. Теперь надолго. А когда кончил, промокнул губы ладонью, сложил руки на столе, положил сверху голову и замер, набирая силы для очередного сообщения.

Анне казалось, что становится участником интерактивного ритуала. Их двое – два объекта. Лифтеры подевались куда-то. Девочка спит. Они сосредоточены: каждый на своем объекте, если это можно назвать сосредоточением. Каждый осознает, что удерживает в фокусе внимания другой объект, разделяя его настроение и эмоции. Она не стала терять время. Придвинула стакан. Наполнила, проливая на черную крышку дорогого инструмента. Выпила залпом и, как папа Русман, ладонью стерла обжигающую жидкость с губ. Ей не надо было ждать, пока всосется коньяк. Концентрация алкоголя в крови давно превысила надпороговые уровни, и общение между ними теперь происходило не как передача информации или намерений, а как трансляция смыслов и символов, отнюдь не обязательно предназначенных для распознавания. Любая форма поведения – действие, бездействие, речь, молчание, оказывались коммуникационно значимыми.

– А потом появились эти двое, – сказал Русман в стол. – Почти одновременно. Набросились вечером. Избили несильно. Ничего не взяли.

Она поискала глазами лифтеров в тулупах. Нашла, спящими на полу подле девочки. Майор поднял голову: – На следующий день пришли извиняться. Выпивку принесли. Откуда у них грузинский коньяк? Выпили, посидели. Так и остались в доме. Стали помогать. Дрова привезли пару раз. Подумал: дом большой – пусть живут.

Майор замолчал. Долго искал свою бутылку. А когда нашел, вытер горлышко. Аккуратно, не проливая, наполнил ее стакан. Она удивилась бездонности бутылки. А он снова отпил и с упрямым безрассудством, изредка постукивая пальцами по крышке, продолжал короткими трудными фразами:

– Теперь в доме не переводится коньяк, как неотъемлемая часть нашей культуры. – Он улыбнулся. – Да, грузинский, с тремя звездочками на этикетке. И бутылки открыты и надпиты. Много еды. Картошка с колбасой. Иногда котлеты. Соленые грузди и огурцы. А в магазинах только гречка и килька в томатном соусе. Иногда мясо выбрасывают мороженное, но больше кости. – Майор не искал ее расположения.

– Не отвлекайтесь, – попросила она.

– Только стал замечать... только стало без надобности на работу ходить. Все и так есть. Я перестал. И гордился своей рациональностью: быть разумным хорошо. Позже понял, что рациональность действует лишь при определенных обстоятельствах. Что, в конечном счете, мной и всеми нами движет не рационализм или рассудочность, а голая нерациональность. И меня с вами здесь и сейчас соединяют воедино не рациональные соглашения, а эмоциональная связь, доверие, необычность происходящего. Та нерациональная основа, как этот рояль, что скоро погонит нас в одну койку...

«Как суетно многословие», – думала она, не открывая глаз. И старалась вспомнить облик бывшего майора, что излагал не хуже преподавателя кафедры социологии на журфаке, перед тем, как залезть к ней под юбку. Образ был слегка затуманен и ясен одновременно, как на полотнах Ренуара. Что-то тщедушное... лицо не идентифицируется, только синие глаза на черном. Зато из одежд запомнились новые американские джинсы «Rife» – даже в высших журналистских кругах Москвы считавшиеся фантастическим дефицитом, – заправленные в валенки. И ватник на голое тело.

Он остановил речитатив, помолчал, засыпая, и внезапно заговорил по-немецки: отрывисто и громко, будто отдавал команды. Лающий голос бывшего майора, его неподвижная фигура и лицо, предыдущие тексты и весь антураж странного дома, и пионерка Оля, что пила водку с ней наравне, а теперь скучно лежала в углу на матрасе, и два приبلудившихся угрюмых лифтера в двухэтажном доме без лифта, и глобальная неопределенность с нерациональностью, пропитанные алкоголем, настойчиво обещали продолжение безумств.

Анна Печорина начинала понимать, что фантаσμαгория затеяна, чтобы завуалировать нечто еще более невероятное. И тщетно старалась разгадать, что скрывают обгоревший дом и его обитатели. И сказала: – Мнения всадника и лошади относительно маршрута не должны сильно отличаться, как у нас сейчас. Я профессиональный газетчик, хоть газета моя многим кажется несерьезной. Зато тираж самый большой в мире: десять миллионов экземпляров. Докапываться до истины – моя задача. Только не говорите, что мир – это копия. Колитесь, бывший майор! – И испугалась сама: вдруг он выложит сейчас такое, что сделает ее непригодной для будущей жизни. Даже такой, как сейчас. И отвернулась к бутылке и стакану с грузинским коньяком, лишь бы не услышать...

– Пленные немцы после Войны строили Клинику в Свердловске. Я служил командиром взвода, охранявшего их, – бесхитростно и трезво сказал майор. – Знание немецкого, я из поволжских немцев, помогало в выполнении предписаний, предусмотренных Уставом караульной службы. Война закончилась. Взаимная неприязнь улеглась. Горожане несли пленным одежду, еду, лекарства. Строительство близилось к концу. Старательные немцы готовы были работать сутки напролет. После завершения строительства их ждало возвращение домой. Однажды, во время обхода караульных постов, один из военнопленных догнал, потянул за рукав, попросил выслушать. «С глазу на глаз. Вечером», – добавил немец, продолжая удерживать рукав. Я согласился, хотя Устав запрещал подобные контакты.

Чтобы оттянуть мучительно ожидаемый финал майорова повествования, пугающий болезненной непредсказуемостью, перебралась к инструменту и стоя, обеими руками принялась осторожно наигрывать что-то, невразумительное пока.

– Немец пришел на встречу не один, – сказал бывший майор.

– Главным действующим лицом был второй. – Испытывая ее терпение, поднес бутылку ко рту. Помедлил. Пить не стал, вслушиваясь в простенький мотив. Подошел вместе с бутылкой и принялся правой рукой помогать, будто решил, что музыкой легче и проще выразить то, что собирался передать словами. И делал это все уверенней и настойчивей, пока мелодия не сформировалась и не зазвучала незнакомо и тревожно. Оттеснил Анну, передал бутылку, и обеими руками принялся развивать найденную тему, что делалась все сложнее и драматичнее. Контрапункты и гармонические затухания в музыке бывшего майора походили на странное самовыражение, не требующее музыкальной формы: силы тратились только на содержание.

Она не могла поверить, что за роялем домотканый майор. Ей казалось, кто-то другой, талантливый и добрый, незримо присутствующий в доме, перемещает пальцы майора по клавишам. Умелые умные звуки заполнили необъятную кухню. Проникли за занавеску с нарисованным очагом, но пространство оказалось тесным. Музыка перебралась в другие помещения дома. Побывала там, обживаясь, и неожиданно музыкальные звуки-знаки трансформировались в звуки-символы. И музыка заговорила.

«Мышление – это и есть музыка, что родом из прошлого. Только она не продолжает прошлое заранее проторенными путями. Расходящиеся музыкальные ряды мышления отсекают старые линии развития и тогда обнаруживаются новые мелодии, которые отнюдь не вытекают из предыдущих звучаний». Их хорошо учили в МГУ и читали курсы по истории театра, музыки, живописи и литературы. Анна Печорина вспомнила, что простой сдвиг тональности способен дать новый смысл предшествующему звучанию. А еще вспомнила, что существуют

области, где вербальные объяснения не помогают, как не помогают старания мыслить образами.

И вслушивалась в звуки музыки, которые принялись рассказывать о событии, что приключилось на земле давным-давно. Задолго до Христа и Ветхого Завета. И сохранилось в документе-накопителе или носителе. Она не поняла о чем идет речь. В каком виде существует документ, подтверждающий случившееся. Но музыка продолжалась и сообщала, что Носитель спрятан в подвалах свердловской Клиники и содержит сведения об основных правилах и законах Мироздания.

К ней прикоснулись руки пианиста. Приподняли. Анне показалось, что мужики-лифтеры снова принялись за свое. Но майор осторожно усадил ее на крышку рояля. Помедлил и медленно придвинул лицо. Обычно она заводилась от первого прикосновения мужчины. Но сейчас была слишком пьяна, как тогда с ПС. Сексуальный лифт снова застрял где-то наверху. Звучащая музыка сфер гасила выброс эстрогенов и порождала мысли не для сексуальных действий, а для размышлений. Однако принимала ласки. Лишь бы узнать детали запретного знания, которому недавно противилась, и которое так старательно пытался рассказать своей музыкой бывший майор.

Он и сейчас старался, стоя между бедер молодой женщины, тело которой вызывающе контрастировало с черной крышкой рояля. И нерешительно, как ей казалось, и неопытно проникал все глубже. А у нее желания не прибавлялось.

Она была молода и чертовски красива, обаятельна и умна, не всегда предсказуема, с прекрасной и редкостной профессией журналиста. И искренне полагала секс не только удовольствием, но инструментом в достижении собственных целей, не всегда совпадавших с правилами и нормами коммунистической морали, хотя членом партии состояла еще с университетских времен. И принялась обучать его искусству любви, не слезая с крышки. А он в ответ поделился про свой больной и постыдный первый раз: пьяным, с женой соседа, в ванне, заполненной доверху картофелем на зиму.

Вскоре пальцы майора, сухие и теплые, и такие сильные, несмотря на худобу, что хватывало дух, принялись выказывать удивительное умение, как в игре на фортепиано. Она истово помогала: громко стонала, подрагивала телом, выгибалась дугой иногда, равнодушно наблюдая лифтеров и девочку-пионерку, что подошли к инструменту, разбуженные криками. И терпеливо ждала, когда майор закончит боевые действия, чтобы выбраться из-под обстрела и продолжить волшебное знакомство... дальше мысли не шли. И пропустила момент, когда в ней самой возникло желание. Такое яркое и сильное, и требовательное, противиться которому не могла и не хотела. И стала растворяться в майоре, в мужиках-лифтерах, в девочке-пионерке, что привычно таранилась, в крышке рояля, в деке, струнах... а потом трансформировалась в ноты, которые сильными чистыми пальцами извлекал из инструмента бывший майор... Однако у майора не заладилось то ли с пальцами, то ли с чем-то еще, и желание осталось желанием...

Утром он принес ей в постель – устроенную на крышке рояля из тулупа, пары солдатских одеял и подушки – тарелку с картошкой, кругом «Любительской» колбасы и соленым огурцом. Она села, постаралась улыбнуться, облизала пересохшие губы и сразу потянулась к бутылке, которую локтем прижимал к груди майор.

В дверях появилась пионерка Оля Русман и заговорила гулким басом: – Ты плохой отец, майор. Пусть эта хабалка убирается прочь отсюда!

– Хороших отцов не бывает, – успокоила ее Анна Печорина. Приложил губы к бутылке. Замерла. Мир перестал существовать для нее, пока алкоголь не всосался из желудка в кровь.

– Эти двое, – сказал бывший майор и кивнул на сиротливых лифтеров в неснимаемых тулупах с густым запахом овчарни, – наверное, и подожгли дом. – Майор умолк, наблюдая, как Анна прилюдно приводит себя в порядок после ночи на крышке рояля, и продолжал: – Быстро

поняли, что облажались. Взяли и потушили враз, как ни одна пожарная машина не потушит. Будто помочились на дымящий окурочок.

– Многие пытаются ставить знак равенства между пожаром и пожарной командой, – заметила Анна Печорина, надевая юбку через голову.

– А про дочку напиши, чтоб другие дети узнали. Заслужила. Тридцать миллионов тираж говоришь? Десять? Напиши! Только, чтобы себе не навредить и чтобы поверили. Лишнего не надо: ни про дом, ни про лифтеров и Носитель... Подумай!

– Я никогда не думаю, когда пишу. Нельзя делать два дела сразу и оба хорошо. – Она знала, что напишет, как требуют того правила редакции. В захватывающем сюжете не будет ни пьяницы майора, ни сиротливых тунеядцев-артефактов из местного КГБ, ни ее ночного полураспутства на крышке рояля, ни накопителя, про который не поняла ничего – в памяти остался лишь адрес места, где он мог скрываться...

«Статья в „Пионерке“ про подвиг школьницы-отличницы из прекрасного города Ревды, чистого и зеленого, сплотит пионеров, а, может, и весь героический советский народ, утомленный властью, еще теснее вокруг коммунистической партии и родного правительства». И знала: «Советский Союз такая страна, про которую, что ни напишешь, все будет правдой. И про этот чертов Носитель, тоже».

– Автобус твой через час, – сказал бывший майор. – Торопиться надо.

Они вышли: бывший майор, дочь-пионерка и чекисты-тунеядцы. Анна Печорина внимательно смотрела на майора, будто видела впервые. Будто старалась сказать что-то важное, что не успела ночью. Не стала искать слова, однако. Знала, что не найдет. И что на факультете таким словам не учили. И звать с собой не решалась. Все равно, что привести в редакцию библейского ягненка, запутавшегося в терновнике.

Они шли к автобусной станции. Майор что-то говорил. Она не слушала. Только возле автобуса прислушалась: – ...обычные люди устроены так, что стремятся иметь под ногами твердую почву, лишённую неоднозначности. Поэтому изловить в терновнике библейского ягненка, наделать из него пельменей, заморозить на подоконнике за окном и выпить под водку – святое дело.

Она хотела согласиться, но тут пионерка Оля заявила о себе:

– Эти двое – она взглянула на тулупы, – которые качали вас... не настоящие. Папу охраняют. А дом подожгли. Надеялись, вынесет то, что ищут неумело, будто ежик в тумане. А папа... не думаю, что в нынешнем состоянии ему есть дело до секретов других миров, хотя воспринимает окружающий мир иллюзиями своего сознания, а не сознанием истинной реальности. И тяготеет собственными промахами, и очень несчастен, потому как его идеалы, духовная адекватность и подлинная сущность... – Она перешла на уральскую скороговорку: – ...дак уходят все оне кажный раз задря куда-то вместе с надеждой найти-от накопитель, о котором ночью сказывал... Правда, раз в неделю приезжает папина фронтовая подруга Клавдия Петровна. Пьют вдвоем. Чаще голыми. Вот и вся любовь.

Глава 3

По ту сторону здравого смысла

В том году стояло «убийственное лето», как у Жапризо. На Урале жара вообще переносится трудно. Но пациенты в ношенных фланелевых халатах поверх таких же пижам, в одинокую и парами, бродили по парку с кленами и не реагировали на жару. Большие старые деревья, уставшие от многолетнего фотосинтеза, бесцельного стояния и нездорового соседства, тревожно взирали на парк, заросший по краям лопухами и крапивой, что росли и усиливались без дождя; и на больных, гулявших по дорожкам, посыпанным толченым кирпичом, как на теннисных кортах. Некоторые скребли кирпичную крошку ногтями, скрывая тоску. Другие норовили забраться на клумбу.

– В каждом из нас есть росток шизофрении. У этих тоже. – Пожилой мужчина, худой и маленький, похожий на школьника-пятиклассника, густо заросший седыми волосами, которые оставляли свободными лишь глаза, оглянулся на прогуливающуюся публику. – Главное его не поливать. – И с сомнением посмотрел на лопухи у забора.

А он мучительно стыдился своего психоза, будто сифилисом заболел, и старался найти укромное местечко в парке, когда приходили посетители, или забирался под кровать в палате. И понимал, что его психическое состояние не соответствует окружающей действительности. Что отражение реального мира в его сознании искажено. И винил мир за то, что воспринимает его неадекватно. А когда вдруг возникало лицо Эммы, четкое, будто в формате digital – глаза, нос, рот и немножко лба, – занимавшее полнеба и с укором смотревшее на него, хотелось провалиться сквозь землю или умереть, лишь бы не видели его другие.

– К сожалению, сумасшедшие здесь сразу бросаются в глаза, – пронизательный мальчик-мужчина понимал его смятение и старался отвлечь беседой: – Однако одно из преимуществ этого недостатка, я имею в виду безумие, состоит в том, что можно продолжать делать то, что делал, и получить при этом совершенно другой результат. – Он улыбнулся, насколько это было возможно при таком количестве волос. – До болезни я руководил архитектурной мастерской и заведовал кафедрой архитектуры в Политехническом институте. По моему проекту после окончания Войны на окраине Свердловска начали строить Клинику. Целый архитектурный ансамбль, реализовавший идеи запретного конструктивизма. Приходилось бывать там? Я проводил дни и ночи на стройке, осуществляя авторский надзор. Строили пленные немцы. Строили, будто для себя...

Прозвенел звонок, как на школьной перемене. Публика оживилась и двинулась к желтому одноэтажному корпусу с решетками на окнах, как, впрочем, на окнах всех корпусов. Обед...

– Я не обольщаюсь на свой счет. – Старик-школьник продолжал утопать в волосах и не старался выбраться. Борода и волосы по бокам головы периодически погружались в алюминиевую миску с супом. – Слава Богу, меня не стали мучить офицеры КГБ и позволили барахтаться в грязи психушки: «хочешь – песни пой, хочешь – спать ложись». И не подозревали, что отсюда мне сподручней наблюдать за звездами. Не возражаете, если доем ваш суп? Ничего, что остыл. Думаете, эта жалкая еда стучит в мое сердце?

Он помолчал, помешал суп и продолжал: – Если б не лечили, жизнь была бы сносной вполне. Аминазин я держу за щекой, пока сестра не уйдет. А от электрошока никуда не деться: бьюсь в судорогах раз в неделю. Зубы раскрошил. Некоторые выпали. Мозги деревенеют. Зато еды много. У меня душа христианина-вегетарианца, но желудок – всеядный язычник, и на посты и диеты ему плевать, и на качество пищи тоже.

– Видите двух здоровенных психов с шапками из газеты на головах за соседним столом? – Не унимался волосатый мальчик. – Офицеры КГБ. Меня стерегут. Очень осторожно, даже

заботливо. В свое время я такого наговорил тутошнему главврачу, что давно должны были расстрелять, как американского агента, но не трогают. – Старик посмотрел задумчиво на его серую рубашку и темно-красный галстук с хорошо повязанным узлом – ему разрешили носить одежду, в которой доставили в психушку, – и сказал: – Правильно завязанный галстук – первый шаг на пути к успеху. – И спросил неожиданно: – Помните, о чем мы говорили в прошлый раз?

Он промолчал. Он вообще не проронил здесь и слова, будто дал обет молчания. И чувствовал лишь вечную тревогу из-за неблагополучия собственного ума. И прилежно глотал таблетки, которыми пичкали его в соответствии с листом назначений, в надежде поправить мозги. Но больная и израненная душа бушевала и рвалась наружу вместе с криками из горла, подгоняя тело, чтобы перебралось поскорее через забор и двинулось неведомо куда. Он сдерживал себя и старался подражать во всем тихим послушным психам, только бы не попасть в отделение для буйных, в котором, судя по рассказам старожил, жилось не очень комфортно. Однако и здесь ему приходилось не сладко: по два пациента на одну кровать. Тесновато. Зато запретов никаких: пой, мастурбируй прилюдно, занимайся мужеложством, танцуй целый день или стой неподвижно в неудобной позе. А можешь выступить с докладом о международном положении и бесстрашно нести антисоветчину. А хочешь, слушай назойливый монолог Эйнштейна-железнодорожника про эквивалентность массы и энергии в формуле гениального физика. А следом – речитатив танцора из миманса оперного театра, спасающегося здесь от преследований за гомосексуализм. Он будет трогать за бедра и рассказывать, как служил конюхом при Александре Македонском, про пагубные привычки полководца и его коня. Слушал и вспоминал Василия Розанова, которого никогда не читал: «Салтыков-Щедрин около Гоголя, как конюх около Александра Македонского».

– Вам никогда не приходило в голову мысль о существовании тонкой связи всего живого на земле со Вселенной, с ее дериватами? – напористо поинтересовался архитектор со странной фамилией Паскаль во время очередного обеда. – Представьте, что такое взаимодействие происходит постоянно, в течение многих миллионов лет. Не может не происходить. – Архитектор доел его суп и теперь пристально смотрел на котлету с крошками гречневой каши. – Проникновение всегда взаимно. Вселенная меняется в зависимости от того, какой мы ее видим. Меняется, если смотрит только гусеница одна... Должна меняться, если смотрит. Ну, и гусеница меняется, конечно.

Паскаль ложкой – вилок им не давали – аккуратно поделил его котлету на две части. Меньшую положил на свою тарелку. Съел и продолжил про гусениц, судьба которых тревожила его: – Возможно, по аналогии с гусеницей, которая укрывает себя в коконе, чтобы умереть и возродиться в нечто совершенно другое, древние египтяне оборачивали своих фараонов в кокон: окукливали их, мумифицировали, оставляя шанс для возрождения. В бабочку, к примеру, потому что бабочка – душа гусеницы...

Однажды монотонная жизнь психиатрической лечебницы дала трещину, что стала стремительно расти. Души теплолюбивых психов начали неадекватно реагировать на затянувшуюся жару. У многих усилились галлюцинации и бред. Одежда стала обузой. Тихо помешанных массово перемещали в ряды буйных и, словно гвозди молотком, заколачивали в переполненные палаты. Случаи успешных суицидальных попыток стали нормой. Разморенные жарой санитары впадали то в сон, то в ярость. Гигиенические процедуры, едва-едва предусмотренные «Правилами», теперь вовсе утратили эффективность. И запахи в палатах загустели так омерзительно сильно, что воздух при ходьбе приходилось раздвигать руками.

Волосатый псих-архитектор с желудком язычника перестал появляться на прогулках. Он не сразу заметил это, хотя спал с ним на одной кровати. Его обеспокоило тревожное поведение тех двоих с шапками из газетной бумаги на головах. Они теперь постоянно торчали у забора, окружавшего корпус для буйных больных. Третий жилец их койки, предпочитавший проводить ночи стоя, рассказал, что старик перебрался в отделение для буйных.

– Сам? – оживился он и подумал: «Первое слово, произнесенное здесь».

– Сам он собрался бежать от себя самого, но санитары помешали. Вы заговорили? – удивился жилец.

Этой ночью он впервые обратил внимание, что лежит на кровати один. Что-то шевельнулось в душе. Может быть, сожаление об архитекторе, коротающим ночь среди буйных пациентов? Или память об Эмме, лицо которой снова заняло полнеба. И содрогнулся, попытавшись представить внутренность клоаки, расположенной в отдельном корпусе, обнесенном дополнительным забором, из-за которого доносились громкие крики, пение, стоны и плач, заглушаемые грохотом и матерными текстами санитаров.

Он крутился на непривычно пустой койке, борясь со сном, и оглядывался тревожно, чтобы не пропустить атаку претендентов на освободившееся место. Потом принялся вспоминать, что рассказывал архитектор Паскаль в прошлый раз, и какой раз следует считать прошлым?

И вспоминал постепенно тексты архитекторских речей, изуродованных купюрами из-за действия аминазина и прочих нейролептиков, которыми загружали его.

– Попробуйте снять пижаму и надеть халат на голое тело. Очень помогает в жару, – сказал волосатый школьник и развел полы халата, словно крылья. Сильно изношенное маленькое тельце с отвисшим животом светилось не летней белизной. На груди и в паху ни волоска, как на ладонях. Только могуче повис большой тяжелый член, почти такой же, как бедро...

Дальше они, видимо, обсуждали размеры пениса у мужчин, потому что после продолжительной паузы память выдала новый отрывок:

– В Томске – там по моему проекту строили дворец спорта, – в анатомическом музее медицинского института выставлен пенис мужчины, помещенный в трехлитровую банку с формалином. Мой, в сравнении с тем, вязальная спица.

И сразу, без перерыва: – ...возможно, имеет непривычный вид. Не знаю, не видел. Однако то, что содержит настолько значимо, что не переоценить, как ни старайся. По крайней мере, так считал пленный немец, который работал каменщиком на стройке в Клинике и представился генералом. Он еще сказал, что сегодняшние знания землян в сравнении с текстами Носителя ценятся во Вселенной не дороже старого трамвайного билета...

«Все это выдумки больного ума, – подумал он трезво тогда. – Человек сам должен определять цену своей жизни, знаний своих и умений, и сопоставлять их со стоимостью трамвайного билета».

Архитектор услышал, посмотрел внимательно и сказал: – Может и так, коллега. Только ходит этот трамвай по рельсам другой планеты. – Помолчал и вернулся к теме генерала:

– Высшие пленные офицерские чины, в том числе фельдмаршал Паулюс, после Войны содержались в Лужецком монастыре на окраине Можайска, под Москвой. Как генерал очутился в Свердловске? Хотя могли же немцы из порушенного Берлина добираться до Аргентины. А из Можайска до Свердловска рукой подать.

Мозг воспроизводил облик волосатого архитектора, его монолог и детали интерьера в формате 3D, про который ничего не знал.

– Кто автор текстов, а, может, и не текстов, вовсе? – продолжал архитектор. – Кому принадлежат нетексты? Кто ввел их в Носитель и почему? Верить этому всему или нет? Помните у Чехова: на толкучке к старым ящикам прислонена вывеска «Стирка белья». Вдумай кто-то явиться с бельем, будет разочарован – вывеска выставлена для продажи. Я не уверен, что вывеска, про которую толкую, повешена правильно или правильно прочитана. Полагаю, те двое с газетами на головах тоже хотят прочесть вывеску и понимают, что для этого ее надо правильно повесить. Думают, вывеска спрятана у меня под халатом, и прочесть ее – раз плюнуть. Не могу представить форму этой вывески, если мы так ее назвали. Это может быть документ или книга, или электронный носитель. Про последний не очень понимаю, но слово знакомо. В

конце концов, не трамвай же они спрятали там. А может и трамвай, на котором человечество отправится в более счастливую и здоровую жизнь... без войн, без КПСС, без болезней, зависти и злобы. Для прятавших нет невозможного. Вы ведь мечтали когда-то стать кондуктором? Вам карты в руки.

Архитектор помолчал, ожидая реплики. Не дождался:

– Эйнштейн утверждал: «Есть два способа жить. Первый – будто чудес не бывает. А можно жить так, будто все в этом мире чудо»... Доподлинно... почти доподлинно известно, где хранится вывеска-носитель. Однако масштабы хранилища несоизмеримы размерами с Носителем. Все равно, что спрятать муравья в здании Обкома партии, а потом найти. Два солдата-строителя, посланные генералом укрыть вывеску-трамвай подальше от чужих глаз в подвалах стройки, не вернулись. Там, кстати, в самом дальнем конце, когда сооружали подвал, наткнулись по подземную речушку, не обозначенную на картах. Не стали исследовать русло. И замыкать подвал в кольцо, опоясывающее Клинику, не стали. Остановили подземные работы. А солдат тех так и не нашли. Перед отправкой в Германию генерал, а может и не генерал, второпях поведал мне историю эту.

Архитектор взмахнул полами халата. Ему показалось, что собрался взлететь и отправиться на поиски смутного Носителя. Но архитектор не спешил. Качнул рукой член, будто взвешивал. Убедился, что не истончал, по-прежнему, тяжел и на дно тянет. Не взлетел, лишь сказал: – Вам интересна эта история?

Он попробовал улыбнуться и не спросил, какая?

– Почему один псих рассказывает ее другому? А кому здесь еще я могу рассказать? Вам знакома фамилия Ливрага? Хорхе Ливрага? Аргентинец или итальянец. Из той же колоды, что Кьеркегор. Это он написал однажды: «Бесполезно обладать клочком земли тому, кто не содержит в себе кусочка неба». Мне кажется, в вас есть этот кусочек...

Утром он проснулся с мыслью отыскать архитектора и узнать все про вывеску-носитель, что укажет дорогу к сокровищам знаний неземных, от которых был необычайно далек. Эта мысль стала доминировать, тяготее над ним, делаясь навязчивой, подавляя собственные болезненные воспоминания, такие же навязчивые еще вчера.

Посмотрел на небо, почти белое от дневной жары, и увидел прекрасное лицо Эммы – глаза, рот, нос и немножко лба, и корону. Лицо улыбнулось впервые, как умела улыбаться она одна, улыбкой девочки и женщины одновременно, и сказала:

– Ступай – И он пошел, забыв про таблетки, про завтрак, про соседа, что спал стоя...

У забора для буйных уже торчали эти двое с газетами на головах, чем-то неуловимо отличавшиеся от остальных психов.

– Чего тебе, штымп? – мягко поинтересовался один. Он не ответил и полез через забор не очень умело. Они стащили его вниз. Осторожно положили на дорожку, присыпанную толченым кирпичом: – Туда по своей воле нельзя.

Он поднял голову, посмотрел на Эмму, на санитаров, на тех двоих в газетах и двинулся в дальний угол парка. Добрался, сел на корточки, прислонившись спиной к стене, посмотрел на небо: Эмма говорила что-то. Он знал, что, хотя отсюда голос был не слышен. И прежде чем действовать, собрался отрешиться от прошлого, что было связано с ней, или, наоборот, погрузиться еще глубже...

– К сожалению, двери к счастью открываются не вовнутрь, чтобы их можно было открыть ногой. С этим ничего не поделаешь. – Услышал он женский голос, но головы не повернул.

А голос продолжал: – Когда не понимаешь мир, в котором живешь, приходится до самой смерти ходить по кругу.

Для переполненного утреннего трамвая тексты звучали неожиданным вольнодумством. Он повернулся и увидел девочку лет шестнадцати, школьницу совсем, худую и прелестную

той подростковой многоугольной угловатостью локтей, колен и скул, что таится в неуклюжих, как-то боком, подскоках молодого грача по весенней траве. Она и была похожа на грача. С чуть длинноватым прямым носом с редкими веснушками и черными крыльями прямых волос по краям узкого книзу лица, желтоватого от загара, на котором пронзительным ярко-синим цветом светили большие продолговатые глаза. А еще был сарафан: открытый, дерюжный и, видимо, очень дорогой. И хорошие туфли на стройных ногах, что казались намного длиннее туловища.

Девочка продолжала что-то говорить подруге, но он уже не слышал, внимательно разглядывая странную говорунью, то ли уродину, то ли красавицу. Она несколько раз посмотрела в его сторону и сказала, помогая себе рукой: – Настоящий джентльмен не станет подслушивать трамвайные пересуды, если он, конечно, не... – Слова утонули в грохоте и звоне.

– Остынь, чува! Я спешу на работу.

– Я твоя работа! – с неожиданным вызовом сказала девочка, будто ей уже давно за двадцать и она все решила за себя и за него тоже.

Он удивился, всполошился и сошел через остановку... Их следующая встреча случилась через две недели в Доме офицеров, куда забрел на субботний танцевальный вечер. Играл джаз-бэнд Карела Влаха – такая же редкость в режимном Свердловске, как голубые коlobусы на улице Ленина.

Длинное фойе не было предназначено для хорошей музыки. На танцах обычно включали радиолу, мощности которой хватало до краев узкого зала. Он стоял прямо напротив невысокой площадки, на которой расположились музыканты и, подергиваясь, с удовольствием слушал хороший джаз. Изредка отлучался за глотком водки в кабинет начальника Дома офицеров: их квартиры были на одной лестничной клетке в хорошем доме, в хорошем месте, что помогла ему получить Кира Кирилловна. Полковник изредка зазывал зимой на пельмени с медвежатиной, которую добывал охотой по лицензии и без.

Он был помешан на джазе и сам с удовольствием играл, воспроизводя по слуху композиции, услышанные в музыкальных передачах Виллиса Канаверала «Tis is music of USA». Однако местная глушилка так старательно подавляла радиостанцию, что звуки музыки с трудом продирались сквозь кагэбэшные помехи. Его выводило из равновесия их всегдашнее старание. Глушили бы «Голос Америки», который слушают все знакомые, но джаз за что?

Однажды вечером в Политехническом институте он играл на фортепиано в одной из аудиторий на отшибе. Он приходил туда с приятелем, у которого на строительном факультете учились две подруги, похожие, как сестры-близнецы. Приятель приносил водку. Близнецы, которыми периодически менялись, покупали беляши. Все пили. Он играл. Иногда ели. Постепенно в аудиторию набивалась политехническая публика. Он ловил кураж и заводил их всех, а они заводили его. Кто-то бегал за новой водкой...

Однажды в аудиторию с группой старшекурсников вошел седой человек в дорогом французском пиджаке, похожий на Ива Монтана. Он продолжал играть, наблюдая боковым зрением француза. Кончил, повернулся и не поверил: за спиной на крышке стола сидел Александр Цфасман, лучший джазовый советский пианист. Он бы меньше удивился, завидев за спиной Уральский народный хор в полном составе.

– Поиграй еще, – попросил музыкант.

У него хватило ума не спрашивать, что? И принялся за «Take Five», Пола Десмонда. И так увлекся, что перестал смущаться запахом водки изо рта и потными ладонями. А когда Цфасман подошел к фортепиано и принялся помогать ему правой рукой, почувствовал себя на седьмом небе. И не успокоился, пока не достал себе точно такой же серо-черный крапчатый французский пиджак...

– Вы так увлечены музыкой, что не видите ничего вокруг. – Девочка из трамвая с текстами Кьеркегора, помогая себе руками, строго пеняла ему: – Настоящий джентльмен давно бы поздоровался с дамой.

– Здравствуйте. Меня зовут Глеб Нехорошев. Любите джаз?

– Эмма... Предпочитаю песни советских композиторов. – Ее лицо было совершенно серьезным, только в синих глазах мелькали голубые вспышки, будто ехала милицейская машина и мигала во всю. – Пора приглашать даму на танец. Или ждете, когда объявят белый?

– Жду песен советских композиторов. – Он стоял и смотрел на девочку-школьницу, которую видел второй раз в жизни, и чем дольше смотрел, тем отчетливее понимал, какой удивительный сказочный подарок преподнес ему душный свердловский трамвай. Не стал спрашивать, за что, и сосредоточился на банальном: как удержать ее, чтобы не ушла, чтобы не потерять...

Влах увел своих лабухов вместе с публикой в джазовые импровизации. А он продолжал тарашиться на девочку. Отчаянно хотелось взять ее за плечо, но не решался, хотя чувствовал себя гораздо взрослее и мудрее. Она тоже притихла. Только причудливо поблескивала вспышками голубого на синем.

Он попытался проникнуть вглубь этих круглых синих колодцев, но она не пускала дальше радужки. Он усилил натиск. И зрачки стали почти прозрачными, открывая дорогу. Торжествуя, он собрался в путь...

– Потанцуем, – сказала девочка, опустила глаза и протянула ладонь. Он взял ладонь, машинально ощупывая пальцы. – Это твист, – сказала девочка, помахивая коленями и попрыгивая вбок, как грач. – А вы танцуете буги-вуги.

– Предпочитаю буги, как вы – песни советских композиторов.

– Не пробовали маршировать под полонез?

Вскоре музыканты собрали попитры и уехали вместе с инструментами. Дежурный офицер включил радиолу, поставил пластинку с песнями Майи Кристалинской. Он пригласил девочку в директорский кабинет. Представил хозяина: большого толстого полковника с гладко выбритым черепом и гулким, как в бочку, командным голосом.

– Эмма, – сказала девочка.

Полковник собрался пошутить и уже набирал воздух в грудь.

А она подошла и протянула руку с таким достоинством, что друг дома стал нервно поправлять галстук и застегивать пуговицы на кителе. Но водку понемногу выпили всю...

– Могу предложить армянский коньяк, – принялся ворковать полковник, хлопоча о своем превосходстве. Взял девочку под локоть и, что-то нашептывая, повел к шкафу в простенке. Она не пыталась высвободить локоть, просто остановилась. Полковник посмотрел на нее. Сказал, будто простой лейтенант: – Понял. – И не стал открывать дверцу шкафа с алкоголем. Девочка отправилась к дальнему окну, задернутому тяжелой белой шторой, модной в кабинетах больших военных начальников. И пока шла, сведя лопатки за спиной, чуть покачивая высоко поднятой головой на тонкой шее, отставив попку и поднимая ноги так странно, прямо от паха, будто шла по воде, мужчины смотрели на нее, как на чудо. В юном создании было столько нездешнего достоинства, уверенности, породы высокой, артистизма, и чего-то еще, совершенно непонятного, с чем они сталкивались впервые. Так ходить могла позволить себе Марлен Дитрих или Элла Фитцджеральд, после того, как Армстронг отмыл ее, избавил от вшей и научил петь; или Екатерина Фурцева, если бы выучил кто-нибудь, или королева Елизавета. Он представил себе молодую английскую королеву, неказистую совсем. Елизавета могла позволить себе все – ее играла свита.

– Я провожу вас, – сказал он, будто собрался на другой материк.

– Я сама. – Девочка повела плечом и вышла. Он бросился следом и не нашел.

Следующий месяц он прожил в поисках Эммы, снедаемый нестерпимым ожиданием, к которому позже присоединилась горечь от бесперспективности затеи. Самодостаточное и целостное бытие свое он медленно разрушал, наплевав на работу, на себя самого, и прилежно перемещался в трамваях, перезнакомившись со всеми кондукторами. Слонялся по улице Ленина. Проводил вечера в Доме офицеров.

Наваждение нарастало по экспоненте. Он забросил свою сексуальную подругу Лизу с прекрасной фигурой и неприметным лицом – нейрохирурга из отделения травматологии.

В то утро в трамвае он болтал со знакомым кондуктором и рассказывал, как в детстве мечтал тоже быть кондуктором и объявлять остановки, и дергать веревочку над головой, сообщая вагоновожатому: можно трогаться. А молодуха кондуктор кокетничала в ответ и покрикивала на публику, требуя передавать деньги на билеты.

– Теперь вы мешаете работе кондуктора! – услышал он за спиной и замер, боясь оглянуться.

– Не трусьте. Вы не один в трамвае. – Эмма точно оценила его состояние. – Поворачивайтесь, сударь. Мечта прекрасна своей неисполнимостью. Ваша начала развеиваться. – Она шутила, улыбалась шуткам своим, взмахивала руками, он видел спиной, как... и боялся повернуться. Помогла кондуктор: толкнула в грудь и сказала: – За тобой пришли. Похоже, контролер. Покажи ей билет.

Он обернулся. Она стала еще лучше. Выше ростом, синей и больше глазами. Толчая в трамвае обходила ее стороной. Она была так совершенна, так, без изъянов, сложена лицом и телом, что отчаянно хотелось потрогать руками и убедиться, что взаправду существует в переполненном транспортном средстве Свердловска. Когда на остановке открылись двери и задул сквозняк, она присела, прижала подол сарафана в косую школьную линейку с нечитаемыми словами к коленям, и стала похожа на сказочную царевну-лягушку. И продолжая улыбаться, и придерживая корону на голове, спросила:

– На работу торопитесь?

– Вы говорили – я ваша работа.

Она сразу стала серьезной. – Можете пропустить работу?

– В Клинике?

– Вы служите где-то еще?

Он продолжал пошатываться внутри, как после хорошего удара по голове: – Могу, только...

– Тогда поедem купаться на Шарташ.

Он провел рукой по груди, где под дорогим штатским пиджаком была белая нейлоновая рубашка и темный французский териленовый галстук. – В таком виде?

– Ну... галстук подобран не совсем удачно. И туфли не мешало бы почистить...

– Это мокасины, – обиделся он.

– Тем более. – Она снова улыбалась. – Выходим на следующей остановке.

У него был операционный день сегодня: две плановых резекции желудка, которые откладывать нельзя. Краснея от стыда, набрал номер заведующей отделением плановой хирургии: грузной, не очень старой старой девы, Киры Кирилловны, служившей вторым профессором кафедры госпитальной хирургии в мединституте. Прекрасная в некрасивости и остроумии своем, посвятившей жизнь хирургии, она была его учителем и лучшим другом. Он мучительно врал ей что-то, а она, понимала, что врет, и не очень строго пеняла:

– Сама прооперирую твоих больных. Но завтра побреешь мои подмышки. – И повесила трубку.

Пока он потел в телефонной будке, девочка успела остановить такси, что было сравнимо с поимкой голубого колобуса на лестницах Почтамта.

Пляжа на озере Шарташ не было. Природа здесь предпочитала не тратить себя: сухая глинистая почва с мелкими камушками и редкими островками сорной травы. Середина рабочего дня. Людей нет. Нет кабинок. Нет лежаков.

Пока он оглядывался, девочка расстегнула платье и осталась в купальнике. Не в привычных, хорошо знакомых, сатиновых доспехах, но в чем-то узком и плотном, и очень нездешнем. Он совсем потерял рассудок. Что-то бормотал, суетился, пытался снять туфлю-мокасин, стоя на одной ноге. А она достала из сумки большое цветастое полотенце, расстелила и улеглась на живот, безобидно и невинно, И забыла о нем.

Чувствуя себя сиротой, он сел рядом: в брюках, даже пиджак не снял, не распустил узел галстука. И приготовился рассказать, как мучительно искал ее.

– Это я нашла, – сказала девочка.

Ему было хорошо, будто заполучил должность заведующего хирургическим отделением. Сидел, любовался девичьей спиной и ягодицами, бедрами и ложбинкой на пояснице. И ловил себя на том, что не испытывает сексуального влечения к девочке. Обеспокоился, прислушался к событиям в собственном паху.

– Не тревожьтесь, – успокоила девочка, будто знала про него все.

Он вскочил, походил, не находя занятия. А потом нашел и принялся бросать камушки в озеро, чтобы отскакивали от поверхности воды. И бросал, будто недоросль, хотя был вдвое старше. Казалось, ему шестнадцать, а ей тридцать два. Поэтому она мудрее и проникательнее, и отгадывает мысли. А ему уготована роль...

– ... роль недоросля, – подсказала девочка и рассмеялась, посветив синим со вспышками голубого: – Давайте поплаваем. Надеюсь, на вас не только брюки.

Они вошли в воду, трогательно взявшись за руки. От волнения он забыл, что умеет плавать и топтался на мелководье, поглядывая, как девочка приличным брасом удаляется от берега. Быстро нагнал, сделал круг и снова двинулся вперед кролем. Доплыл до середины озера, повернул обратно. Выбрался на берег. Девочка успела одеться. Завидела его и сказала: – Я не завтракала.

Он был готов к более серьезным подвигам, но спорить не стал: – Здесь неподалеку буфет с минеральной водой и печеньем. Металлическая будка с решеткой на окне была раскалена, как печка-буржуйка. Два мужика наливали в граненые стаканы бесцветную жидкость из бутылки с наклейкой «Нарзан» и заедали конфетами-подушечками. В витрине парились несколько пряников, облепленных мухами, и пара бутылок минеральной воды.

– Позавтракаем в городе, – сказал он, стараясь перехватить инициативу.

– Хочу здесь, – негромко и ненастойчиво сказала девочка. Подошла к буфетчику. Склонила голову. Вернулась: – Там, позади дома, есть столик под деревом.

– Будем есть пряники с «Нарзаном»? – нервно рассмеялся он.

– Пойдемте...

Худосочный армянин в густых усах и огромной кепке, преданно поглядывая на девочку, суетился у стола. Над столом росла большая береза. Старая и сонная, почти без листьев, она неряшливо роняла на стол насекомых и засохшие сережки.

Вскоре стол был заставлен тарелками с закусками, большую часть из которых он видел впервые. Буфетчик притащил холодную бутылку «Зубровки» и при них откупорил. Ему показалось, что сходит с ума. Не хватало струнного квартета живьем с Вивальди. А девочка беспечно и блаженно поедала холодную севрюгу, ветчину, сыр, чищенные грецкие орехи...

– Едим, будто перед концом света, – сказал он.

Девочка осторожно поддела вилок толстую гусеницу, что упала в тарелку с березы, поднесла близоруко к глазам и сказала, улыбаясь: – То, что гусеница называет концом света, наш учитель биологии называл бабочкой.

Сюрпризы не кончались. У буфетчика появился ассистент. Развел огонь и принялся жарить шашлык.

Он чувствовал себя, как на приеме в Кремле. Подавленно поглядывал на девочку и в который раз задавался вопросом: что происходит? И содрогался при мысли о сумме, которую назовет сумасшедший буфетчик за неожиданное пиршество. Однако обошлось.

Ассистент буфетчика отвез их в город на своем «Москвиче». Остановился возле Почтамта. Выжидающе оглянулся.

– Вам пора в Клинику. – Девочка улыбнулась, обезоруживая. – Я поеду дальше. Не волнуйтесь так. Увидимся. – И укатила.

Он сел на ступени Почтамта и стал несчастен, потому что содержание его жизни, ее трафик, адекватность и полнота сознания, находились теперь на попечении Эммы, если это можно назвать попечением.

Значит, снова мучительное ожидание, снова поиски, изнуряющие бессмысленностью, которые ни к чему не приведут. И старался найти логику в ее поступках, и понять, что движет прекрасной девочкой Эммой, к странностям которой не смог притерпеться. И всякий раз наткнулся на стену, сложенную из разнородных кирпичей непредсказуемых поступков, загадок и абсурдов. Это уже была не любовь, но нечто весьма патогенное, как свирепствующая неподалеку сибирская язва, в эпидемии которой ему была отведена роль жертвы. Помучившись, остановил поиски: пусть будет, что будет. С подобным решением десятки лет жила вся огромная страна...

А девочка Эмма отыскалась довольно быстро. На теннисных кортах Политехнического института, в перерыве между сетами, он сидел на скамейке и болтал с партнером, которому проигрывал с крупным счетом. Она подошла и жизнерадостно сказала в спину: – Здравствуйте, сэр.

Он так дрогнул телом, что переполюсовил соперника. И не спешил оборачиваться, как в трамвае, страшась и радуясь.

– Ноги плохо работают... а слева лучше бить двумя руками. Всегда, – сказала она, не желая замечать, что говорит в спину.

– Здравствуйте, Эмма! – Он встал, обшаривая глазами лицо и одежды, в надежде, что она не так хороша, как раньше. И понимал, что хороша, что стала лучше: и ноги длиннее и рот больше – совсем, как у лягушки, – и глаза в этот прохладный августовский день сияли синим, будто две лампы «соллюкс» в кабинете физиотерапии Клиники. И сказал: – Теннис – «это маленькая жизнь». Хотите сыграть пару геймов? Надеюсь, на вас не только юбка. Хорошо, в следующий раз. – И понимал, что задирается, что силы не равны, но поделаться с собой ничего не мог. И не знал, чего хочет.

– Если не знать чего хочешь, значит хотеть очень многого... или ничего. – Девочка Эмма удивляла избытком пронизательности, была доброжелательна и миролюбива, и не старалась держать дистанцию. Похвалила теннисные доспехи. Посветила глазами, обволакивая синим и густым – соллюкс отдыхал. – Я с машиной. Жду вас через десять минут.

Он бросился в душ. А когда выбрался на улицу, не увидел ни девочки, ни машины. Вспомнил все мытарства. Встал понуро и знакомое недоумение, и обида, а теперь уже и злость, проникли в душу, чтобы остаться там. И не обращал внимания на черную «Волгу» с серыми занавесками на окнах, поджидавшую партийного босса. Машина мигнула фарами. Еще не веря, подошел, склонился и увидел девочку Эмму за рулем. Молча сел рядом, волнуясь и поглядывая на невиданный никогда радиотелефон.

– У нас несколько часов. Можно снова на Шарташ, – сказала она беспечно и невинно. – У буфетчика найдется свободная комната. Но гостиница лучше.

Недоумевая, он медленно приподнимал чужой занавес, старался понять, про что она. А когда понял, засмутился, как семиклассник, и сказал, холодея: – Тогда «Большой Урал».

И осознал себя, когда шел по большому мраморному холлу с высоким потолком. И на ходу, дрожащей рукой, незаметно вкладывал в паспорт двадцать рублей – все, что нашел в карманах. Шел, страшась, что вдруг получится. И что тогда делать в гостиничном номере с девочкой Эммой?

Администратор у стойки, нервная черноволосая женщина, вынула изо рта сигарету с помадой на фильтре: – Мест нет. – На мгновенье подняла глаза и строго добавила: – Гостиница только для приезжих.

Кроме пронизательности у нее была гипертрофия щитовидной железы, которая давала нервозность, гиперкинезы и блестящие зрачки. Однако обсуждать тему гипертиреоза не стал, хотя был уверен – начини и гостиничный номер был бы обеспечен. Превозмогая себя, сказал: – Я приезжий, иногородний. . . улица Гагарина 29, квартира 6. . . третий этаж. – И протянул паспорт.

Администратор старалась пальцами через обложку определить количество вложено купюр. Не смогла. Открыла. Помедлила и вернула: – Ничем не могу помочь.

Удивительно, но он возвращался и тешил себя призрачной надеждой, что черной «Волги» у подъезда нет. Что девочка Эмма, как обычно, укатила, решив этим все проблемы. Будто кто-то другой месяцами слонялся по городу в мучительных поисках, обуреваемый любовью и надеждами.

– Сколько денег вы положили в паспорт? – Девочка была лучезарна и спокойна. – Я так и думала. Этого мало. Я пойду сама.

– Нет, нет, – забеспокоился он.

Она согласилась: – Просто покатаемся.

– Давайте! – оживился он.

Чья-то черная «Волга» везла их по городу. Эмма вела машину не хуже инструктора в автошколе ДОССАФ. А он ловил себя на мысли, что любовь к ней слишком затратна – не рассчитаться – из-за постоянных умственных усилий и душевных тревог, к которым не был приучен, как Илья Обломов. И не знал, что без них любовь хиреет. Потому что любовь – когда отдаешь, а взамен не ничего хочешь.

Машина подъехала к озеру. Он сказал тревожно: – Снова Шарташ?

– Единственная тревога человека должна быть о том, почему он тревожится. На той стороне отведены места для иногородних, – царственно сообщила Эмма и двинула машину вкруг озера. Они остановились в небольшой березовой роще с низкорослыми корявыми деревьями, искореженными свердловским климатом.

– Поцелуйте меня, – попросила Эмма. От прежнего величия не осталось следа: перед ним, замерев в ожидании, доверчиво сидела девочка-школьница.

Он придвинулся, коснулся ладонью щеки, волос у виска, осторожно провел пальцами по губам, впервые узнавая, какая она на ощупь. Заглянул в глаза: радужка была почти прозрачной, приглашая вовнутрь, в душу этой странно красивой, отважной и непредсказуемой девушки. И собрался в дорогу, и приготовился погрузиться в два прозрачных колодца, чтобы познать природу необычного юного существа. Но в голову, отвлекая, почему-то лез редкостный диагноз клинической патологии: «ювенильный идиопатический артрит». И как ни старался, не мог представить его вживую. Зато перед глазами покачивался иглодержатель с круто изогнутой толстой хирургической иглой и лигатурой из кетгута. Отвлекся, чтобы убедиться в постановке пушки на боевое дежурство. С ужасом обнаружил, что там еще конь не валялся. И, готовый от стыда провалиться сквозь землю, отчаянно дергал ручку дверцы.

Избавление пришло неожиданно: оба услышали крики, шум близкой драки. – Не выходите! – попросила Эмма, но он уже открыл дверцу и с облегчением двинулся на крики. Возле серой «Волги» с военными номерами группа мальчишек-старшекласников атаковала одинокого солдата. Тот падал под ударами. Поднимался и снова падал, и что-то жалобно твердил.

А мальчишки не злобствовались сильно. Били солдатика, посмеиваясь, и совали под нос расчехленный фотоаппарат ФЭД.

Он подошел: – Пятеро на одного? Нечестно.

Мальчишки оставили солдата и двинулись к нему. Он понимал, что их слишком много и что на помощь солдатика рассчитывать не приходится. Однако видел Эмму за спиной и не собирался ударить в грязь лицом. Оттолкнул одного, потом другого, стараясь не перегибать палку. Оба устояли на ногах, но «дружелюбию» нападавших пришел конец. Мальчишки превратились в стаю волков, свирепых и беспощадных. В руках появились камни. У одного – нож. Четверо парней стояли перед ним.

«Где пятый?», – подумал он и тут же был атакован толчком в грудь. Пятый, скорчившись, сидел на земле за его спиной. Ему удалось подняться, но они снова свалили его. Услышал, как солдат завел двигатель и подумал: «Сукин сын». Смог встать на четвереньки, но дальше дело не шло. И тогда заорал, что было сил: – Выйди, солдат! Помоги, защитник отечества хренов!

После долгой паузы дверца распахнулась, но не спереди. Вышел мужчина. В костюме. Пожилой. Невысокий. С портфелем в руках. Пристроил портфель на капот и двинулся на передовую. Дальнейшее походило на драки в ковбойских фильмах, когда герой управляется с десятком вооруженных головорезов и гордый собой возвращается к поджидающей красавице. Только управлялся с разгневанными парнями пожилой интеллигент в шляпе. И делал это так артистично и умело, без видимых усилий, используя неизвестные приемы рукопашного боя, что уложил всю компанию в считанные секунды. Забрал фотоаппарат. Не забыл про портфель. Молча сел в машину и укатил.

– Что это было? – поинтересовался он, возвращаясь к Эмме.

– Я говорила, что эта сторона озера для иногородних, – улыбнулась девочка. – Это гомики. В гостиницу их не пускают. Дома увидят соседи. А здесь... здесь их фотографируют мальчишки и, шантажируя, требуют деньги.

Они снова сидели в машине. – Нас тоже фотографируют?

– Им сейчас не до нас. Борьба украшает мужчину. – Эмма умела придавать банальностям значительность библейских откровений. – Мы сейчас все поправим. – Достала из сумки носовой платок. Промокнула ссадины. Поворошила волосы, провела рукой по щеке, приблизила лицо, а чтобы не боялся, прикрыла глаза. Прикосновение губ было таким осторожным, что ощутил сначала только дыхание. Приученный к поцелуям «в засос», ожидал, что втянет в рот его губу и примется сосать, и сам готовился к ответным действиям. А она лишь чуть касалась чужого рта губами, будто соприкасались две души. Это было так неожиданно, что опешил, и почувствовал движение в стратегическом месте. Однако до постановки на боевое дежурство было далеко. И страх вперемежку со стыдом снова накрыл его с головой, как шинелью.

– Облака мешают? – улыбнулась Эмма. Они снова поменялись годами: он мальчишка, ей тридцать два. Взрослая женщина осторожно расстегивает пряжку на ремне. Он хочет помочь, но она отстраняет руку, тянет молнию вниз. Проводит пальцем. И сразу протрубили трубачи тревогу. Кто-то умелый откинул крышку люка и поставил ракету на боевое дежурство.

Он уверовал в себя. Помог снять плащ. Принялся расстегивать пуговицы на платье, что сзади, и решать, как станет командовать парадом в тесном пространстве автомобиля, и в какой последовательности будут разворачиваться события.

А у нее был собственный план. Отстранилась. Будто лишнюю кожу, сняла платье через голову. Лифчика не было. Только штанишки и корона царевны-лягушки. Он дотронулся пальцами до розового соска, помедлил, приник губами. Эмма не противилась. Положила его руку на бедро, указывая маршрут, но он был слишком занят грудью. Ей пришлось подтолкнуть, куда следовало, руку – да, да, куда следовало, слышалось ему, – допуская ладонь до блаженства. Там было горячо и влажно. И мешая друг другу, и цепляясь пальцами, они вместе открывали второй фронт, и вместе скользили по шелковой ткани штанишек, пока не решились стянуть их.

Он поглядывал на заднее сиденье, а она не спешила перебираться туда, и не позволяла открыть огонь, изводя его и себя блаженной медлительностью. А когда созрела для боевых действий, умело для тесного пространства перебралась к нему на колени, села верхом, в стременах пока, и стала медленно опускаться.

И вдруг совсем над ухом заорал кто-то: – ...следование! Я сказал, прекратить преследование! Не стрелять! Не стрелять, мать вашу! Повторите! – тревожно и гневно кричал мужчина. Голос продолжал отдавать команды, пока девочка нащупывала нужную клавишу на радиотелефоне.

Тишина была такой, что услышал, как кровь покидает кавернозные тела. Следом пришел страх. Вечный страх перед властью, густой и липкий, хоть ни в чем не был виноват. Но для власти это никогда не имело значения. И желание истаяло, будто голос в радиотелефоне, что кричал: «Cease fire!», отдавал приказ лично ему.

Стараясь скрасить неловкость, Эмма снова включила радиотелефон, повозилась с клавишами, и непривычно чисто и громко, будто рядом с машиной расположился большой джазовый оркестр, зазвучала прекрасная незнакомая мелодия.

– A power is a lovesome thing, – сказала девочка с придыханием. – Любовь не уживается со страхом. Не молчите. Говорите! Доминируйте. Не бойтесь ни себя, ни власти, которая привычно воюет с теми, кто не в шахте и не у станка. Вам снова тридцать два, а мне шестнадцать. У вас большие сильные руки. Вы бы могли стать блестящим хирургом. Почему заведующая хирургическим отделением, в котором служите, хочет этого больше вас? Почему не можете состояться?

– Не знаю, – признался он, приводя себя в порядок. – Говорят, неплохо оперирую...

– Кто говорит?! Ваша заведующая так не считает.

– Да, к сожалению, состояться не удалось... Из-за лени, отсутствия интереса, нежелания бессмысленно, до изнурения, тратить силы на изучение хирургической науки, совершенствование техники, зубрежку языков, ночные дежурства в Клинике... Природа не слишком щедро наградила меня талантами. К тому же любимая страна своими законами, руками друзей, сограждан, начальников больших и малых, профкомов и парткомов не позволит состояться по-настоящему.

– Почему?

– Из-за того, что власть и народные массы испытывают друг к другу нескрываемую неприязнь. – Он цитировал чьи-то чужие, заимствованные тексты, неведомыми путями попавшие в голову. – И вместе ненавидят интеллигенцию, которая безмятежно наслаждается относительно комфортным существованием. И лишь изредка отвлекается на бессмысленную полемику о бренности и тленности режима, о роли и значении своем. И делает то, что нравится, пока позволяют, даже если позволяют те, кто не нравится. И сор из избы не выносит. И не нарушает хрупкого равновесия. И не тычет чем-то острым в больные места власти... Понимаете теперь, почему легкая необременительная жизнь с алкоголем, parties, новыми знакомствами, ресторанами, концертами кажется предпочтительней и привлекательней всего остального? Вы ведь тоже не проводите целые дни на баррикадах. – Он корил власть, не зная, какой она станет в недалеком будущем. И власть не знала, и великий советский народ тоже не знал.

Эмма, возможно, знала, поэтому у нее были другие предпочтения и другие ценности, и заботы другие: – После того, как ваши руки побывали у меня под юбкой, мы можем перейти на «ты».

С этим трудно было спорить. Он и не спорил, притерпевшись к странностям ее. И молча любовался легкомысленной и прекрасной царевной-лягушкой, понимая, что для молчания хватает тем. А потом увидел двух мужчин... высоких, в изношенных защитных одеждах, похожих на шинели. В сапогах. Не таясь, они пробирались сквозь жидкий березовый лесок к машине, но так странно, будто шли по минному полю. Он коснулся ее руки:

– Смотрите!

– Это за мной, – сказала Эмма, не дрогнув голосом, не изменив лица. – До города доберетесь сами. – Подтолкнула, помогая выбраться из машины, и, вдавив педаль газа в пол, двинулась напрямиком на незнакомцев.

Столкновение было неизбежным. Он прикрыл глаза и не увидел удаляющуюся «Волгу» и тех двоих на заднем сидении...

А когда открыл, то снова сидел на корточках в углу больничного парка, прислонившись спиной к стене и думал: «Надо попасть в отделение для буйных и поговорить с архитектором о вывеске-носителе. Симулирую буйное помешательство, как архитектор. Только зачем его туда понесло? А если не по своей воле?».

Он встал, посмотрел на белое от жары небо, и двинулся к клумбе, разбитой напротив столовой. Добрался до середины и принялся скрести землю ногтями, и тосковать, и восходить к высокой степени безумства. Выдрал несколько больших желтых цветков, засунул в рот вместе с корнями и землей. И, прежде чем его заметили санитары, вытоптал остальные. Подбежав, они скрутили руки, но бить не стали, зная, что хирург. Лишь старались вытащить цветы изо рта, что торчали, как у лошади. Он мотал головой, стискивал зубы, вырывался, а кричать не мог.

Его повели в отделение. По дороге он выплюнул цветы и принялся орать невразумительное. Привязали к кровати, послали за врачом. Врач пытался успокоить, гладил по голове, как ребенка, называл по имени отчеству, обещал выписать и вернуть к работе. В конце концов, попросил сестру ввести внутривенно тиопентал натрия с аминазином. Его развязали, когда уснул...

Он проснулся через час, уверенный, что аккредитован в отделении для буйных. Лежал с закрытыми глазами, стараясь на слух определить, так ли это. И услышал пушкинское, знакомое до боли: «Над вымыслом слезами обольюсь. Над вымыслом слезами...», что раз за разом без пауз проговаривал псих с соседней койки с синдромом Ла-Туретта, страдавший эхолалией. И с горечью думал: «Не получилось»...

Вторая попытка попасть в отделение для буйных, увенчалась успехом, хотя обошлась недешево. Ему пришлось разбить несколько окон в палате, опрокинуть кровати, избить пару больных, попытаться изнасиловать сестру, что было верхом безумства для тихих. А на десерт отправил в нокаут опостылевшего санитаря. Рост и сила позволили легко сделать все это...

Он трудно просыпался после лекарственного коктейля, введенного внутривенно, и не осознавал, где находится, хотя запахи и крики вокруг подтверждали, что не оплошал. Кто-то осторожно копался в его прямой кишке, странно и приятно, но поднять голову и посмотреть не мог. А потом острая боль, яркая и жгучая, пронзила тело. Он не сразу сообразил, где она локализована, а когда понял, было поздно: буйные психи насиловали его, пользуясь беспомощностью. Он задергался, пытаясь выбраться из-под потных вонючих тел. Унижение и злоба были так сильны, что казалось еще немного и освободится. Но вышколенные санитары умели привязывать пациентов к кроватям. Только ноги привязать забыли. Он встал вместе с кроватью во весь рост. Во все свои сто девяносто четыре сантиметра. Но возбужденные психи, свалившись с него, как с дерева, не собирались отступить. Сколько их было: трое, четверо, пятеро? Без коры, только спинной мозг и подкорка. Они могли сделать с ним, что угодно. Кольцо сужалось. Испуганный рассудок пробуждался.

«Они даже не волки, – думал он, ворочая кровать за спиной. – Они хуже, потому что без рефлексов опасности, боли и страха». И закричал, что было силы: – Санитары! Санитары! – И увидел архитектора, протискивающегося к нему сквозь буйное кольцо. Странно, но психи расступились, пропуская старика.

Архитектор подошел – он стал меньше ростом, еще больше зарос волосами, хоть неделя прошла всего, – задрал голову, чтобы заглянуть ему в лицо и сказал негромко: – Не кричите. Ночь на дворе. Какие санитары. – И принялся развязывать простыни.

Волки-психи разбрелись. Он не запомнил лиц и не узнал бы при встрече, чтобы свести счеты. Оглянулся. Свет здесь ночью не выключали. Картина, что увидел, была настолько ужасающей, что зажмурился. И сразу в ноздри ударил концентрированный запах аммиака, фекалий и специфический запах пота сумасшедших. Он зашатался. Закрыв рот и нос ладонью, и боялся отвести ее от лица. Глаза слезились. И уже сквозь слезы всматривался в безумный даже для психиатрической больницы мир.

Почти все они – а их там было человек сорок – не спали. Некоторые стояли в неудобных позах, застыв в кататонии. Другие без одежды лежали на загаженном деревянном полу. Простыней не было. Подушек тоже. Только мокрые грязные матрацы, изредка крытые клеенкой. И огромное количество зеленых навозных мух, что с почти человеческим неистовством бились о темные окна, словно старались поскорее выбраться из ужасающей человеческой клоаки. Отступали, набирали скорость и снова ударялись о стекло, пока не падали в изнеможении на подоконник, где копились зеленые трупки. Их жужжание служило саундтреком мизансцен, безостановочно следовавших одна за другой. Многие разговаривали сами с собой. Кто-то бился головой о дверь. Кто-то истязал себя, прокусывая кожу зубами на предплечье, и с интересом наблюдал, как течет кровь. Кто-то мазал лицо фекалиями... Все были разобщены, изолированы друг от друга. Каждый сам по себе: не видел, не слышал, не замечал соседа. Только двое в дальнем углу палаты молча дрались, но как-то странно, по-звериному. Один внезапно останавливал драку, поворачивался к противнику спиной, словно забывая. А другой, не удивившись, принимался ковырять пальцем стену. Через минуту кто-то вспоминал, и они снова брались за дело.

– Пойдемте, – сказал архитектор и потянул за собой к одному из окон, зарешеченному железными прутьями. – Вас здесь не тронут.

Сквозь пижаму он притронулся рукой к развороченному заду и промолчал.

– Иисус, – продолжал архитектор, – сильно отяготил человеческую жизнь, усеяв ее бедами и напастьями, терниями с колючками. И минимизировал процветание. Однако радость осознанного бремени для некоторых есть то нормальное состояние земного бытия, без чего человечество утратило бы «уравновешенность». Понимаете о чем я? Ничего, позже поймете. А сейчас попробуем довести начатый когда-то разговор до конца. Вы ведь здесь за этим?

Архитектор уверенно продвигался вперед, переступая через психов, что валялись на полу, обходя кровати и стоящих больных. И странное дело, все они, как могли, выказывали ему почтение... даже те, что лежали лицом в пол или застыли в кататонии. Будто к каждому подходила большая добрая собака, улыбалась и позволяла погладить себя. А может, им казалось, будто к больничному причалу подплыла океанская яхта, и капитан, добродушно улыбаясь, предлагает прокатить желающих... На мгновение в глазах больных появлялось что-то человеческое. Казалось, еще немного и по команде архитектора буйная безумная публика выстроится полукругом и запоет хором или станет делать производственную гимнастику, несмотря на поздний час. И язык не поворачивался сказать про все это: маразм крепчал.

Он еще был под «шубом» лекарств, но все существо, все клетки большого сильного тела твердили в голос, что душевно выздоравливает, что почти здоров. Здоров! И надо поскорее выбраться отсюда, а не слушать бредни сумасшедшего архитектора. И, расталкивая больных, бросился к двери. И колотил кулаками по толстой жести. И кричал: – Позовите врача! Врача мне! Врача!

– Остыньте, коллега, – мягко сказал архитектор. Взял за руку и снова повел к окну с железными прутьями, и продолжал по дороге:

– Человечество возвысилось над материальностью окружающего мира благодаря одному, кажущемуся сверхъестественным, свойству: интуитивному ощущению божественного. С самого начала вся жизнь человека разумного, все следы его деятельности пронизаны магией служения таинственному контакту между его собственной духовной личностью и Создателем. Не помню, кто первым сформулировал это. К сожалению, в философии заимствования никогда не закавычиваются. К тому же ночью в отделении для буйных это не имеет значения. – Он хихикнул. – Материалисты утверждают: все – плод эволюции, результат случайностей. Но как бы это ни называли, разумная эволюция, использующая накопленный опыт и случайности, которые не являются случайностями, доказывает присутствие во Вселенной некоего Создателя, Творца, существующего в виде реального исторического артефакта. Это Сверхсущество, называйте его, как угодно, сотворило удивительно совершенное по своей гармоничности и функциональности устройство, называемое мозгом. Никакие случайные связи, случайный отбор никогда не могли бы создать ничего подобного. Поэтому чувство осмысленности пребывает с нами...

Он слушал архитектора и думал, что мир – результат случайностей. И тот, что в психушке, тоже. И что разумнее всего оставаться неразумным. В палате было так тихо, будто и впрямь буйные психи построились в колонну и по команде архитектора-малышки отправились в ночной парк заниматься производственной гимнастикой.

– Создатель дал нам мозг, – сказал архитектор. – Придумал программу процедур и событий, определяющих развитие человечества. И ждет, когда люди перестанут верить, что Он думает за них, и начнут думать вместе с Ним. А чтобы ускорить процесс, Он оставил нам некоторые знания и технологии, которые обеспечили начальный прогресс и продолжают обеспечивать. И должны помочь понять природу Мироздания, его законы и следствия этих законов, на которые так падки люди, потому что держат их за физические и биологические чудеса. Фундаментальные для человечества вопросы, такие как пространство и время, происхождение жизни, новые виды энергии, оружие массового уничтожения, антигравитация, старение, опухолевые процессы – всего лишь частные случаи этих законов и правил.

Архитектор вытащил из кармана больничной пижамы сухарь и принялся сосать. Размягчил, прожевал и продолжал:

– Иисус, пожалуй, был первым Посвященным, кто совсем близко подошел к Носителю или даже заполучил его. Он называл это Светом. И говорил, что Свет в нем самом, и мечтал передать Свет людям. Но что-то пошло не так. Возможно, его background не позволял внятно, в терминах той поры, объяснить публике природу Света и его законы. Христа распяли, а Воскресения, как ни крути, не случилось ни на третий день, ни позже. Однако Сюнь-Цзы говорил когда-то про такое: «То, что происходило тысячи лет назад, непременно возвращается. Таково древнее постоянство».

Архитектор умолк, вытер рукавом мокрый лоб. Прислушался. Психи возвращались после производственной гимнастики в парке и снова дрались, и ссорились, и кричали, даже самые молчаливые. Архитектор заторопился:

– Информация, оставленная Создателем, существует в разных видах, на разных носителях и хранится в нескольких местах на земле. Часть таких мест известна. Однако идентифицировать артефакты, которые являются носителями информации, удается крайне редко. А информацию еще надо прочесть и понять.

Это была первая прохладная ночь. Небо светлело. Ссоры и шум за спиной нарастали, заглушая жужжание мух.

– Если верить генералу-строителю, один из таких носителей, добытый немцами в Тибете или Карелии, или на Алтае спрятан в подвале Клиники. Остальное вы знаете, – закончил архитектор почти скороговоркой.

Они оставались стоять у окна. Вот-вот должно было взойти солнце. Он посмотрел на небо и увидел лицо Эммы: глаза, нос рот и немного лба... и контур короны на голове. Она улыбалась и говорила что-то. Он замер, вслушиваясь...

– Это моя дочь, – сказал архитектор. – Погибла, когда зашла слишком далеко... в поисках Носителя. Хотя, возможно, это был просто несчастный случай, стечение обстоятельств. – Он посмотрел на дверь. – Зовите санитаров, чтобы выпустили. Теперь вы знаете что-то про Носитель. Остальное предстоит узнать самому.

Он послушно двинулся к двери.

– Подождите! Еще вопрос. Нет, не про Эмму... Мы оба в отделении для буйных психиатрических больных. Ни вы, ни я не в состоянии адекватно оценить свое безумие, тем более безумие другого. Не исключаю, что все, рассказанное здесь – плод моего больного воображения. Может быть, я ничего не говорил, а услышанное вами – результат вашего собственного помешательства. Можно верить и не верить. Понимаете о чем я?

– Мне не нужна вера. Я адекватно оцениваю свое состояние. Ваше тоже. Мне нужны полномочия.

– Тут вы правы. Иисус говорил: «Если кто не родился свыше, не увидит Царства Божия». Вы не на контракте. Вы freelancer – свободный художник. Посвященный. Это ваш мандат, – сказал архитектор. – Вам будут переданы тайные знания, как передавали их друг другу друиды, тамплиеры, масоны. Как заполучил их когда-то Иисус. Только помните, в семимерном пространстве мысли могут материализоваться. Не каждый выдержит такое.

– А вы не хотите отправиться за Золотым руном?

– Мне нравится здесь. – Архитектор оглянулся. – Эти несчастные слышат меня. К тому же я слишком стар, чтобы путешествовать. От меня остался только пенис. А звезды можно наблюдать и в отделении для буйных. Тут за телескоп сойдет и член. Надеюсь, здравомыслие еще пребудет со мной и позволит фамильярничать со Вселенной, полагая ее репликой на незаданный вопрос.

И мухи перестали жужжать...

Глава 4

«В действительности все иначе, чем на самом деле»

Выбраться из сумасшедшего дома оказалось непросто. Он понимал, что здоров и что дальнейшее пребывание пагубно сказывается на его психике, но поделаться ничего не мог. Лишь тяготился. Его вернули в отделение для тихих, но безумием был пропитан сам воздух психиатрической больницы.

Заведующий отделением собрал несколько консилиумов, показывая его ведущим психиатрам города. Ему уже давно не задавали вопросов, какой сегодня день, год, про домашний адрес и девичью фамилию матери, про возбудителя малярии, синдром Рейно и имя президента Соединенных Штатов.

На последнем консилиуме заведующая кафедрой психиатрии, профессор Грета Ивановна Гомберг, пребывавшая всегда в маниакальном возбуждении, громким шепотом сказала ему:

– Психическое здоровье после перенесенного психоза, даже если он реактивный, и здоровье после аппендэктомии – не одно и то же здоровье. – Оглянулась, предложила: – Пойдемте ко мне в кабинет. – Села на угол письменного стола, закурила, выпустила умело несколько колец табачного дыма, и сказала, помахивая ногой: – Мне звонила Кира Кирилловна. Беспокоится. Не помню вас студентом.

– Я учился в Ленинграде.

Профессор Гомберг снова выпустила партию колец, пронзила тонкой дымной струйкой: – Некоторые ваши коллеги попадают сюда с белой горячкой. Но Кира никогда не протезировала кому-либо из них. Предоставить вам отдельную палату не могу. Зато по ночам сможете пользоваться моим кабинетом. Вам будут ставить раскладушку. Как в Одессе: «Вы хотите песен – их есть у меня».

Зазвонил телефон. – Да, звонила, несколько раз, – сказала Грета Гомберг. – Да, настаиваю. Вы же не станете лишать гражданских прав больного малярией из-за гектического характера температуры. Психи... простите, наши больные не сильно отличаются от пациентов, укушенных змеями. Нет, еврейка... вы знаете прекрасно... и мама. А папа поменял Исаака на Ивана в тридцать седьмом, чтобы не расстреляли... Нет, если и колеблюсь в предпочтениях своих, то только вместе со страной... Из родственников никого. Всех положили фашисты в Войну. В Бабьем Яру под Киевом. Ну, официальных данных нет. Сама не считала, поэтому не знаю, кто больше погубил: немцы или наши... Воля ваша. До свидания.

Грета перевела дух. Положила трубку. Закурила новую папиросу из плоской картонной коробки с лошадьё и всадником на фоне гор, и надписью «Казбек». И ногой махать не перестала:

– Заведующий идеологическим отделом. Главный обкомовский псих. Just a motherfucker. Эта публика и их главари взяли за правило провозглашать совершенно безумные идеи в политике, науке, искусстве: «Это нашему народу не надо, этого наш народ не поймет». И скрывают, что светлое будущее уже наступило, чтобы не лишать публику последней надежды. И неприхотливый, покорный, всегда послушный советский народ, которому власть полощет мозги почти пятьдесят лет, соглашается и не требует ничего.

– К сожалению, в СССР психиатрия находится в мезозое, сами знаете теперь. И диагноз «душевнобольной» – на всю оставшуюся жизнь, потому что страна боится своих психов и не лечит, и не содержит. А в царские времена... – продолжала Грета.

А он подумал, что ее неприятие власти, совершенно нездешнее, ироничное и отважное – будто выросла в другой стране, – не является стилистическим расхождением. И грозит ей бедами большими, про которые сама знает лучше остальных, но продолжает.

– Когда вы в депрессии, – услышал он, – вам кажется, все кончено, потому как депрессия по Фрейду – замороженный страх. Он обязательно растает и у вас останется будущее. Только не тащите туда прошлое, даже если оно не мертво и не прошлое совсем. И свой прежний жизненный опыт не тащите. Он, как фонарь на спине: освещает лишь пройденный путь. Знаете, кто первым заметил это? Ах, знаете. Странно... Поживите еще пару месяцев у нас. – И добавила: – Сумасшедшие встречаются везде. Даже там, – она посмотрела на потолок. – Там они, кстати, не так заметны.

Он смирился и снова прилежно глотал таблетки и микстуры. И отгородился от публики психушки, накрывшись с головой шинелью, сшитой из кусков молчания, послушания и прикрытых глаз. А потом вспомнил и вытащил из памяти обломовский диван, и периодически с комфортом укладывался на него. Только те двое в шапках из газеты на головах досаждали, будто встали подле него на караул. И чувствовал себя то мавзолеем, то вечным огнем, и завидовал архитектору, который сумел избавиться от их опеки, хоть знал, какой ценой.

А двое, сменив объект караула, не спускали с него глаз даже ночью, устроившись на соседней кровати. И засыпая падали на пол с глухим стуком, будто тяжелые большие груши в осеннем саду, не уместаясь телами на узком ложе.

Он пытался задраться, кричал, оскорблял их прилюдно:

– Вы, мать вашу, вшивая чекистская креатура! Дериваты чертовы! Грязные сукины дети! Проваливайте! – Но те не реагировали. Только улыбались. «Похоже, эти двое сами постепенно сходят с ума от длительного пребывания в лечебнице», – думал он.

Эмма опять исчезла. Он постоянно задирает голову, чтобы взглянуть на небо, затянутое тучами, но она словно в воду канула. Ее не было там и в погожие дни.

Прошел месяц. Ему казалось, еще немного и станет по-настоящему есть цветы с клумбы. Архитектор тоже понял это и сказал у себя в буйном отделении негромко: – Попробуйте пристальнее взглядеться в настоящее.

Он услышал и спросил: – Что тогда?

– Увидите будущее.

И он продолжал пялиться в небо, надеясь увидеть Эмму. Смущался этим и стыдился. И смутно сознавал, что стал другим. Каким?

Зато выздоровевшая вместе с душою память услужливо восстанавливала историю его знакомства с Эммой. Теперь он точно знал, где и как ее найти. Знал, что ждет и готова вразумлять и направлять его, и споспешествовать в делах.

Следующий визит Эмма нанесла в Клинику. Упросила санитарку сообщить, что пришла и ждет. В тот день он вместе с Кирой Кирилловной оперировал больную с калькулезным холециститом и желтухой.

Профессор Кира матерно обругала санитарку и выгнала из операционной. Посмотрела на него, помолчала и снова принялась помогать: он накладывал анастомоз между двенадцатиперстной кишкой и общим желчным протоком. Больная была толстой, рана в правом подреберье узкой и глубокой. Он пожаловался вслух.

– Разве не ты оперирующий хирург? – поинтересовалась профессор Кира. – Доступ к большому органу – в твоей компетенции. Большой хирург делает большой разрез, маленький...

– Я дошел до позвоночника сзади, – обиделся он. – Если продлить разрез кпереди, послеоперационной грыжи не миновать.

– Если анастомоз не будет герметичен, послеоперационная грыжа не успеет развиваться при любом размере раны. Надеюсь, понимаешь, почему?

Ассистенты зашивали рану. Профессор Кира отвела его к окну и сказала:

– Что за моду ты взял, приглашать в предоперационную своих девок. А если бы урологом служил или дерматологом?

Он промолчал, но Киру было не остановить: – Это из-за нее ты грозился в июле побрить мне подмышки? Отвечай! А как же твой роман с Лизой из травматологии, что топчется на месте несколько лет? Покажи мне ее.

– Лизу?

– Ты знаешь, кого.

– Эмму?

– У женщины с таким именем должен быть муж и, как минимум, любовник. Эта теорема блестяще доказана Флобером.

– Она еще ребенок.

– Показывай ребенка.

Вытянувшись в струнку, окруженная хирургами, Эмма застыла посреди длинного коридора Клиники, заполненного кроватями с прооперированными больными, которым не хватило места в палатах.

– ...нет, не на перевязку, – донеслось до него. – И в кино не пойду, даже на дневной сеанс... и в ресторан тоже. Как вы сказали, называется? Нет, не фильм...

– Здравствуйте! – сказал он, счастливо улыбаясь и привычно теряя рассудок. – Это Эмма, Кира Кирилловна. Знакомьтесь.

– Здравствуй, ребенок, – строго сказала Кира и насупила брови. – Если хочешь поговорить с ним, ступайте ко мне в кабинет. Здесь тебе проходу не дадут. – Повернулась к хирургам: – А вам пора в Коллайдер на коммунистический субботник, мальчики.

– Мы тоже пойдем на субботник, – сказала Эмма, будто объявляла о походе на половцев.

Кира опешила от чужого безрассудства. – Хорошо. Ступайте! Если встретите там Ленина с бревном, не удивляйтесь. До свидания, ребенок.

Они шли по полутемному подвалу, уворачиваясь от тележек с операционным и постельным бельем, баллонами с кислородом и закисью азота. Обгоняли каталки с покойниками, которых санитары везли вереницей на вскрытие в морг.

– Движение, как на улице Ленина, – сказала Эмма, поеживаясь. – Только трамваев не видно. Сколько в день умирает в Клинике больных?

– Надеюсь, вы не только за этим пожаловали сюда? – начал раздражаться он. – Про субботник профессор Кира пошутила.

– Значит, Ленина мы не встретим?

Он не стал отвечать.

– Давай походим по подвалу, – попросила девочка. Мне надо рассказать тебе кое-что. Здесь найдется укромное местечко?

– Укромнее морга места не найти.

– Годится! – она обрадовалась так искренне, что он, приученный к ее странным выходкам, остановился потрясенный.

– Как мы доберемся туда?

– На каталках.

Они шли по грязному подвалу Клиники, кишасшему тараканами с ладонь, и крысами, поедающими котлов. Эмма так старательно вглядывалась в стены с редкими матерными надписями, что потеряла по дороге больничный халат, и в строгом костюме из дорогого твида смотрелась чужеродно и очень взросло. И видом своим торопила вопросы, чтобы рассказать главное. Но он не собирался помогать.

За их спинами к движению постепенно присоединялась подвальная публика с тележками, с каталками и без. На площадке перед моргом движение застопорилось. Она удовлетворенно оглянулась: – Рассказываю!

– Это еще не морг.

– Неважно. – И шепотом, не обращая внимания на любопытствующий подвальный народец, сказала: – Где-то здесь, в этом грязном подвале, пленные немцы, строившие Клинику по проекту моего отца, спрятали... – Теперь она шептала прямо в ухо: – ...спрятали документ, добытый их научной экспедицией в Тибете или Гималаях. Документ, способный сделать его обладателя... сделать самым могущественным человеком планеты.

– Как колобок? Как Илья Муромец? Нет? А кто?

– Сразу этого не понять.

– Материальный мир основан на некоторых разумных принципах, которые исключают адекватные дискуссии на темы вроде «Консолидирующего воздействия Промысла Божьего», – сказал он. И впервые подумал, что сведения, заложенные в Носителя, могут обеспечить эффективную трансформацию вооруженной до зубов страны, продающей за границу лес и нефть, в преуспевающее комфортное государство. И одномерная политическая диктатура, и старомодная вера в решающую роль пушек сменятся максимальным уровнем свобод, открытостью и четко прописанными перспективами. И КПСС перестанет быть руководящей и направляющей силой. А новая власть будет говорить только правду. И домотканая посконная страна, несмотря на закончившуюся индустриализацию, выбьется в лидеры мирового прогресса. И народ бросит пить. И станет вместе с приезжими осваивать знания и высокие технологии Мирового Разума из списка Носителя. И получать Нобелевские премии. А над всем этим будет царить дух личной свободы, предпринимательства и взаимоуважения самодостаточных граждан...

Эмма посмотрела на толпу и стала тревожиться: – Остальное доскажу в морге.

– Я не гонюсь за могуществом. Мне это не надо, – уверенно заявил он, будто отказываясь от внеочередного дежурства.

– Надо! – сказала она.

– Я з-з-зна-зна-зна-знаю эту л-л-л-л-лярву, – произнес тусклый голос в толпе.

Эмма дернулась, оцепенела и невидяще уставилась в стену.

– С-с-с-с-су-к-к-ка-ка... ми-ми-ми-минет-т-т-т-чица-ца-ца, б-б-б-бля..., – продолжал мужской голос, склонный к сильному заиканию. Темный подвальный народец в нестиранном казенном белье зашевелился, задвигал каталками, загудел и на разные голоса принялся с любопытством обсуждать, что это такое?

Он был потрясен не меньше Эммы и с ужасом думал, что сейчас голос, затерявшийся в толпе, начнет просветительскую лекцию о превратностях орального секса, адресованную, прежде всего, девочке и ему. Он был камерным по натуре и не любил публичности, особенно такой, что грозила им здесь и сейчас.

– Кто этот сукин сын? – заорал он, понимая, что драться с подвальным народцем бессмысленно. И все-таки шагнул вперед.

– Н-ну, я этот су-су-су-сукин с-сын, – сказал высокий худощавый мужик в коротко стриженных волосах на голове и лице, в фартуке и очках от Тома Форда. – Ан-ан-ан-андро-ро-роном меня з-з-з-зовут. К-ки-ки-слородным Андроним. К-ки-ки-слород развожу и за-за-закась азота по оп-п-п-перационным-то. Ви-ви-виделись не-е-е-е раз.

Подвальный народ не хихикал над заикой. По напряженным фигурам и искаженным гримасами лицами можно было догадаться, как старательно они помогают мужчине продираться сквозь мучительное заикание.

– Что вы себе позволяете, Андрон, мать вашу! – Он кричал и тряс Андрона за плечи, стараясь заглянуть в глаза. И готовился ударить.

– У-у-у-у нее-е-е-е на я-я-яг-г-го-годи-ц-ц-це н-на-на-на-к-к-колка с б-ба-ба-ба-бочкой, – трудно выговорил Андрон, клацая зубами, дергаясь в судорогах и не пытаясь вырваться. Подвальная толпа завелась, побросала каталки и, ожесточаясь, принялась выкрикивать вразнобой: – Пусть жопу покажет! Пусть покажет! Пусть!

Он вспомнил давний завтрак на озере Шарташ. Эмму, что поднесла вилку с гусеницей близко к глазам и, улыбаясь, сказала: «То, что гусеница полагает концом света, наш учитель биологии называл бабочкой». – И ударил в первый попавшийся раскрытый в крике рот, потом в другой. Но крики не стихали. Он растерялся, может быть, впервые в жизни так сильно, и не знал, что делать. А Эмма по-прежнему стояла неподвижно среди бушующей толпы и тарасилась на замызанную стену.

Крики нарастали. В них появился ритм, задаваемый хлопками в ладоши и топаньем ног. Он услышать, как Андрон сказал: – П-пусть Вар-вар-вара из урологии с-сы-сы-мет юбку с ее.

Стыд, ярость и бессилие застилали глаза, кружили голову, лишали рассудка. И перестал различать слова в реве толпы. И урывками, продираясь сквозь этот рев, пытался понять, чего они хотят больше всего? И пропустил момент, когда крики стихли. Стихли так внезапно, будто кто-то повернул ручку громкости до отказа влево. И увидел замершие в удивлении и растерянности лица, и услышал, как каплет с потолка вода на цементный пол.

Он обернулся: Эмма стояла спиной к толпе совершенно голая и прикрывала груди руками. У ног лежали юбка, туфли, пиджак, который женщины называют жакетом...

Тело девочки было так прекрасно в наготе своей, так чиста была белая кожа и целомудренна поза, что резали глаза посильней кварцевой лампы. Казалось, Эмма светится в полутьме сырого подвала. И не было наколки на ягодицах, только медальон на шее. И тишина давила сильнее, чем недавние крики. И толпа понимала это.

– П-помоги б-барышне одеться, Варвара, – сказал Андрон. – Рас-рас-х-х-ходите, м-мужики.

Подвал опустел. Вымер. Даже вороны перестали летать. Эмма перешагнула жакет с юбкой и голой, двинулась вперед.

– Я хотел узнать... – сказал он.

– В каком полку служу?

– Да, в каком?

– Вызови такси к главному входу. Не провожай. Я сама.

Он появился в отделении через час. Увидел лица коллег и понял, что новость из подвала успела добраться сюда. Молча прошел длинный больничный коридор, остановился перед дверью заведующей, не уверенный, что хочет войти, и стоял, понурившись, пока не услышал:

– Come on, dude!³ Превед, красафчег! – Не глядя, Кира Кирилловна налила на треть два граненых стакана грузинским коньяком «Варцixe», который дарили больные, знавшие ее алкогольные предпочтения. Достала початую плитку шоколада «Гвардейский». Подвинула стакан и сказала:

– Тяготишься? Чем? Только плесень растет сама. А цветы надо поливать. Давай! – Они выпили. Безрадостно и молча. Кира посмотрела на шоколад: – Почему интеллигентный, хорошо образованный молодой человек так беспомощен в личной жизни даже в светлые свои минуты? Почему не пользуется тем, чем владеет? «От жажды умирает над ручьем. И знает все, и ничего не знает». Сколько лет предлагаю тебе рецепт другой жизни? Короткую последовательность событий, что позволят защитить диссертацию... кандидатскую, хотя бы. Или сразу метишь в академики?

– Я без того счастлив.

– Вижу. Просто спотыкаешься ногами об него.

³ – Входи чувак (англ)

– Не желаю казаться сильным, умным и счастливым. Хочу просто жить, как живут экзистенциалисты, запрещенные у нас. А в диссертациях никакой науки нет. Простое повторение исследований американцев двадцатилетней давности. К тому же удачные эксперименты, как правило, не воспроизводятся.

– Хочу понять, что тебя интересует, чувак, кроме вечеринок, осторожного секса, похожего на кашель, и заморских тряпок?

– Не поверите, если скажу.

– Выкладывай!

– С давних пор мечтал стать кондуктором трамвая.

Она подняла стакан и впервые посмотрела на него. – Девка твоя знает про это?

– Догадывается. Иначе, зачем я ей?

– Трамвайный кондуктор, – сказала Кира, продолжая хмурить брови. – Не самая подходящая служба для такого лентяя.

– «Лень – лучшая подруга рвения». Когда-то в школе, в Ленинграде, на выпускных экзаменах писал сочинение на тему «Герой нашего времени».

– Не продолжай! Ты выбрал Павлика Морозова. Нет? Неужели, молодогвардейцев?

– Большинство людей не стремится увидеть вещи такими, какие они есть. Я выбрал Обломова. – И тут же зрительная память открыла страничку в линейку из школьной тетради и кусок текста: «В Петербурге, на Гороховой улице в такое же, как всегда, утро, лежит в постели Илья Ильич Обломов – молодой человек лет тридцати двух, не обременяющий себя особыми занятиями. Его лежание – определённый образ жизни, своего рода протест против сложившихся условностей...»

– Не может быть? – Кира недоверчиво таращилась на него. – Не верю.

– А в кондуктора поверили?

Кира, занятая разливом алкоголя не ответила. Он обиделся и стал задираться: – Своему любимцу Герману Федорычу из неотложной хирургии вы верите больше, чем себе и прощаете все. И хирургические ошибки, и беспробудное пьянство, и...

– Знаю, он невыносим. На самом деле он еще хуже. Если бы тебе досталась сотая часть того, что выпало Герману в Войну и после, ты давно бы спился или спятил. А он... так, как он, даже пьяным, у нас не оперирует никто. Пей! Хочешь, скажу, чтобы еду принесли? Котлеты с перловой кашей... Еще? Давай стакан. Лучшего лекарства человечество не придумало. Жаль, что привыкают слишком быстро... А девочка твоя... Эмма... и впрямь хороша собой, и воспитана. Только все равно – поганка: гриб-мухомор, что красив и привлекателен. А отведаешь... и откинуть сандалии, как два пальца обоссать.

Кира Кирилловна сделала большой глоток. Прижала указательный палец к верхней губе и сильно втянула носом воздух, закусывая. – Послать за котлетами? Как угодно, чувак... К сожалению, таким, как наша поганка, воспитание только мешает. А еще анамнез отягощен. Да, да. Ее прошлое – это твое будущее, с которым вы оба собрались разминуться. Она такой же ребенок, как ты пехотинец. Ей далеко за двадцать. Расслабься. Думал, скажу «за тридцать»? Одного не понимаю: зачем ты понадобился ей? Пей! А что татуировки нет... может, ошибся Андрон. Только не тот он человек, чтобы такой факт сообщать прилюдно, если не уверен. Что-то было у него с ней... Говорят, яйца у него большие. Больше, чем мозги. – В осуждающем голосе Киры была незнакомая злость и тоска, а может, зависть. – Ты, ведь, не перепутаешь в темноте ранорасширитель с прикроватной тумбочкой, даже если сильно пьян. Не веришь? Счастливчик. Еще? Нет? А я выпью. Не думай, что ревную-то, и не благодари. Чем ее анамнез отягощен? Пусть сама расскажет. Ты хотел что-то сказать?

– Хотел. В действительности все иначе, чем на самом деле.

– Иначе, если воспринимаешь мир иллюзиями своего сознания. Ступай!

Середина сентября. Однако осень уходит далеко и надолго, безвозвратно почти. Редкие желто-красные листья еще держатся кое-где на понурых деревьях, а трава давно пожухла или вытоптана психами. Влажная глинистая почва со следами множества больничных тапок к утру подмерзает и становится ребристой, будто ее всю ночь бороздили танки. И по утрам скучный парк без танков кажется совершенно безлюдным. Смотреть на это грустно, но не тошно.

Новость, что он ночует в профессорском кабинете, облетела психушку и сделала его на какое-то время предметом всеобщего обожания. Местный Наполеон, два Ленина, фельдмаршал Кутузов, Пикассо и поручик Голицын спешили раскланяться с ним в больничном коридоре, столовой и на прогулке. Заводили долгие разговоры о власти, болезнях, женщинах... Он стал понимать, что борьба за влияние среди психов идет постоянно, как в тюрьме. Только здесь она приравнивается к продолжению вечной битвы добра со злом, и чувствовал себя молодым членом Политбюро, интеллигентным и умным. Стеснялся этим и гордился немного.

Раз в неделю профессор Гомберг приглашала его к себе на получасовую беседу, которую называла оздоровительной. Вольнолюбивая Грета была яростной поклонницей Фрейда, запрещенного в СССР, и не ограничивала себя постоянным цитированием знаменитого психиатра, но применяла психоанализ на практике. И изводила бесконечными расспросами о детстве, родителях, бабушке, предпочтениях в литературе, отношениях с другими пациентами психушки. Он был вынужден постоянно маневрировать в узком коридоре правильных, с точки зрения Греты, ответов. Порой ему казалось, что она не только помогает избавиться от психоза, но прививает чувство гордости за свою болезнь.

Однажды пожаловался, что не испытывает самодостаточности и целостности в нынешнем бытии своем. Грета отреагировала незамедлительно, будто ждала реплику:

– Фрейд полагал, как только человек начинает задавать себе вопросы о смысле и ценности жизни, он заболевает. – И принялась делать пометки в его истории болезни.

Через две недели, покончив «с детством, юностью и моими университетами», Грета принялась за настоящее и словно клещами вытягивала из него подробности недавнего прошлого, поражая порой знанием деталей, которые а priori знать не могла. И все ближе придвигалась к теме пленных немцев-строителей и Накопителя-Носителя.

– Вы давно знакомы с Паскалем? – спросила Грета однажды и заметно напряглась. Чтобы уйти от ответа, он вытащил из памяти и процитировал Блеза Паскаля, знаменитого французского мыслителя: – «Люди безумны, и это настолько общее правило, что не быть безумцем тоже своего рода безумие».

– Средневековый Паскаль избежал вашей участи. Наша психушка ему не грозила никогда. И не только из-за удаленности во времени и пространстве. Я про Леона Паскаля, архитектора, пациента из отделения для буйных. Удивительный человек. – Грета остановилась, ожидая реплики. Не дождалась, вытащила новую папиросу, закурила и долго махала рукой со спичкой, стараясь сбить пламя.

– Он из обрусевших французов. Его дед служил учителем французского в пореволюционном поколении Демидовых, купцов и дворян, что обустроивали не только Урал, но почти всю Россию. Сначала при Петре I, потом при Екатерине II, Петре III. Впрочем, зачем вам это. Леон Паскаль попал к нам, помешавшись на каком-то документе-накопителе, якобы оставленном пленными немцами в подвалах Клиники, в которой вы... работаете. – Грета подошла к двери, выглянула в коридор, вернулась, уселась на край письменного стола. И, поглядывая на черный ящик телефона, сказала: – Паскаль полагает, что Накопитель содержит сведения о богатствах древности и космогонии.

Он задвинулся на стуле. Стал поправлять пижаму, чувствуя, как покрывается испариной лоб, но по-прежнему молчал. Профессор Гомберг тоже держала паузу, но очень умело.

Он не выдержал и спросил: – А что милиция?

– Это прерогатива КГБ. Его вызывали туда, – она махнула ногой в стоптанном туфле в сторону потолка. – Беседовали. Теперь он наша креатура. Шизофрения с тенденцией к прогрессированию. Недавно перевели в отделение для буйных больных. Не хотите что-нибудь сказать?

Он не хотел и так заметно, что Грета отпустила его. И снова таблетки, и микстуры, порошки и физиотерапевтические процедуры. Эффективность последних вызывала у него усмешку. Тем не менее, лекарства и Гомбергов психоанализ давали свои плоды. Вернувшийся разум и ясная память напоминала снова и снова, как два психа в отделении для буйных насиловали его, привязанным к кровати. И публичное унижение, и злоба, и стыд требовали ответных действий и отвлекали от главного, хотя сказать, что – главное затруднялся.

А когда однажды утром два мужика в шапках из газеты – типичные дериваты – подошли в коридоре и стали молча теснить в дальний угол, не испугался, только спросил негромко: – Чего вам, придурки? – И не сильно удивился, будто давно ждал этого, и именно от них, когда сказали хором почти: – Дружков-то твоих, обидчики которые, сегодня переводят к нам в тихое. Паскаль просил передать. Двое их будет. Справишься?

– Как я узнаю их?

– Об этом-то чего беспокоиться? Сами и подойдут-то, чтоб представиться. – Ухмыльнулся один и поправил шапку. «Уральский Рабочий», – прочел он сбоку название газеты.

Они подошли на третий день, вечером, когда ожидание стало невыносимым.

– Ну, здорово, фраер! – сказал тот, что был массивнее и выше. – За тобой должок. Когда возвернуть собираешься-то? Помнишь, как испохабил нам веселуху? Али зависнуть хочешь на кувыркале и ждешь, чтоб снова силком? Привязанным-то больше нравится? Оно, конечно... и нам сподручнее. – Оглянулся на второго, похожего на заморыша с высокомерной гримасой, трудно натянутой на неожиданно крупное лицо.

Он молчал, наливаясь злостью, сдерживая рвущуюся наружу ярость, и тешил себя: «Сейчас я сделаю с ними такое, такое...».

– И не знал, что? И неожиданно заявил: – А че тянуть-то с должком. Дак щас прям и возверну. Не станем ночи ждать. Вам-то, вижу, не терпится.

– Ты че, прямо здесь-то? – спросил массивный и оглянулся на публику, прогуливающуюся в коридоре после ужина.

– Предпочитаете гостиничный номер, джентльмены? Как там у вас: «Тубанит он и бздит в мандраже».

Массивный сразу набычился, раскраснелся и, прижав его к стене толстым животом, заорал, перейдя на «феню». Потное, вонючее тело, словно грузовик давило все сильнее, мешая дышать. Он продирался сквозь блатной язык, так густо сдобренный матерщиной, что обычные человеческие слова почти не встречались. И с трудом понимал, что его друг, архитектор Леон Паскаль, давно заделался педом, и не ведет себя так паскудно, и оказывает услуги пушкой своей, что, как у танка, и прямой кишкой... и что сейчас самое время выйти в парк и поговорить, и решить все дела по-хорошему, потому как, если по-плохому – ему намного дороже встанет...

Они беспрепятственно прошли в парк. Было холодно и темно. Лиц не разглядеть, только контуры тел. Его собственное, изнасилованное этими двумя, требовало крови любой ценой. И второпях, вглядываясь в неясные очертания, снова перебирал в голове варианты мщения с кровавым исходом. И остановился на простом: «Изобью до полусмерти и подвешу за мошонки». И спросил: – Вы уверены, что вас двоих хватит, чтобы справиться со мной? – Они не стали отвечать.

А когда стал додумывать, куда подвесить их, заморыш неожиданно ударил ладонью по щеке. Совсем не больно. Но пощечина была так унижительна, словно псих этот малый откашлял густое содержимое трахеи и плюнул сгустком в лицо. А тут еще по щеке потекло горячее,

и подумал с отвращением: «Значит, все-таки откашлял и плюнул, сукин сын». И увидел в руке заморыша бритву. Не лезвие безопасной бритвы «Нева», но большое широкое лезвие со складной ручкой для опасного бритья, блеснувшее в темноте.

Сумятица из увиденного и отрывочных мыслей, захватывала все больше. Он погрузился в размышления о хулиганствующих соперниках, непохожих на нормальных советских психов: таких, как он сам, как архитектор Леон Паскаль, как остальная публика психушки, подверженная галлюцинациям и фобиям... но чтобы взять опасную бритву и наброситься с ней на соседа?!

– Начинаю уставать от вас, чуваки, – сказал он. Но заморыш так не думал, потому что снова взмахнул рукой. В этот раз он сразу ощутил резкую боль в щеке. Дотронулся пальцами: два глубоких пореза сильно кровоточили. В голову полезли неуместные мысли про жертвенность, которая уместна только в случае крайней необходимости. Про первичную хирургическую обработку ран. А заморыш переложил бритву в левую руку и снова полоснул по лицу, и кровь потекла ручьем, заливая глаз.

Пора было переходить к намеченным боевым действиям, но жажда мести и крови чужой испарились. Он начал думать, как достойно и поскорее вернуться в отделение. Но последовал новый удар бритвой по лицу, и снова острая боль, и кровь. Он уже ничего не видел и не слышал, спеленатый таким ужасом, что не мог шевельнуться.

– Сымай штаны! – услышал он голос массивного и дрожа принялся искать тесемку на пижамных штанах. И думал: «Пусть делают, что угодно, только не полосуют бритвой лицо». Он был сломлен, парализован страхом и перестал реагировать на внешние раздражители. И не было силы, способной заставить его сопротивляться. Разве что танк, который выстрелом из пушки уничтожит этих двоих с опасной бритвой... и тогда на броне, победителем, он въедет прямо в коридор отделения. А без танка с этими двумя не совладать.

Было холодно и темно. Он стоял со спущенными штанами и равнодушно поджидал новой атаки. Но те, почему-то не спешили. Тогда мелко семеня ногами, приблизился сам. Они не отреагировали и стояли неподвижно, и молчали, будто в сонное царство перебрались, оставив его за невидимой стеной.

Он дотронулся до одного, потом до второго. Страх прошел. Натянул штаны. Вытер рукавом кровь и принялся рассматривать обоих. И понимал, хоть не верил, что впали оба в классический ступор – один из наиболее ярких симптомов запущенной кататонической шизофрении, проявляющийся обездвиженностью и мутизмом.

Поднял руку массивного вверх и оставил там. Поднял вторую и тоже оставил. И злорадно наблюдал, как неподвижно и покорно, будто он сам минуту назад, стоит большой придурок. Подошел к заморышу. Забрал бритву из восковых пальцев и хотел полоснуть по ненавистной роже... нет, лучше по горлу. Но кто-то сказал: «Не забивай человека до смерти, даже если хочется».

И стоял, медленно приходя в себя. Снова стирал кровь с лица рукавом пижамы и размышлял о случившемся. А когда разум вернулся насовсем, спустил штаны с толстого, наклонил, отставил жирный зад и развел руки в стороны, придав телу унижительную вычурную позу. И почувствовал себя Вучетичем, перековывающим мечи на орала. Повернулся к заморышу. Потянул за руку и усадил на корточки перед товарищем. Качнул большую голову и с удовольствием наблюдал, как заморыш старательно без перерывов воспроизводит заданное движение. И, вспоминая текст из учебника психиатрии: «Двигательная персеверация при каталепсии», двинулся в отделение. И не оглянулся на композицию свою.

Ночью «Скорая» привезла в психушку Киру Кирилловну. В процедурном кабинете она наложила ему на лицо дюжину швов атравматическими иглами. Его снова потрясло всегдашнее удивительное Кирино умение манипулировать тонкими, сухими и длинными пальцами

художника, что странно смотрелись при грузном теле. И сожалел, что хирургические произведения не выставляются на обозрение.

Кира достала из сумки бутылку «Варцихе». Оглянулась в поисках подходящей посуды. Отпила первой из горла. Протянула бутылку. Они сидели и молчали, изредка прикладываясь к горлышку. Он иногда касался пальцами швов на лице, стараясь оценить масштаб разрушений.

– Отвезу тебя в Клинику, – сказала Кира. Здесь грязно. Швы нагноятся. – Отхлебнула, провела длинным пальцем по губам. – Что ты сделал с ними?

– В Клинику с таким лицом?

– Как тебе удалось? – настаивала Кира.

– Не знаю. Это – не я.

– Они сами? – начала раздражаться Кира. – Набрался ты здесь премудростей. Позвоню Гомберше, чтобы выписали из гадючника поскорее.

Грета вызвала его для внеплановой беседы на следующее утро. Он ожидал серьезной трепки и задержки с выпиской, но профессор была на удивление миролюбива и, похотывая, разглядывала изуродованное лицо. Попросила сестру принести кофе, вытащила из сумки кусок торта, завернутого в пергаменную бумагу:

– Поздравляю. Теперь вы точно знаете состояние своих духовных и физических сил.

Он удивленно уставился на нее.

– Да, да. Вчера вечером вам пришлось испытать их. Пейте кофе... растворимый... родственники больного втюрились... – Грета делала паузы все более продолжительными. – Мы с Кирой Кирилловной решили не сообщать об инциденте в милицию... что бы не портить ваше возвращение... на службу... выпишем через пару дней... Согласны? Вот и хорошо...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.